

Алексей Иванович Дьяченко

Отличник



Алексей Дьяченко

Отличник

«Издательские решения»

Дьяченко А.

Отличник / А. Дьяченко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-746712-8

В романе «Отличник» прослеживается жизненный путь молодого человека, приехавшего из провинции в Москву. Главный герой, Дмитрий Крестников, бежит от несчастной любви в столицу. Работает на стройке, посещает театральную студию и, как следствие, поступает в творческий институт на режиссёра. Учёбу совмещает с ведением драмкружка в средней школе. Заводит знакомства, влюбляется, познаёт первый успех и первое разочарование. Находит настоящих друзей и ту, о которой мечтал. Книга для взрослых и мыслящих.

ISBN 978-5-44-746712-8

© Дьяченко А.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1 Как я оказался в Москве	6
Глава 2 Фелицата Трифоновна	16
Глава 3 Савелий Трифонович	21
Глава 4 Возвращение Леонида	31
Глава 5 Бландина	37
Глава 6 Люба Устименко	49
Глава 7 Футбол. Василий Васильевич	51
Глава 8 Гарбылев	57
Глава 9 Смерть Букварева	64
Глава 10 Вступительный экзамен	68
Глава 11 Трудовой семестр. «Картошка»	72
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Отличник

Алексей Дьяченко

© Алексей Дьяченко, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1 Как я оказался в Москве

1

Снился мне сон. Темная комната, стол, на столе – свеча. За столом напротив меня – два собеседника. Свеча горит еле-еле, света от нее почти никакого. Лиц собеседников не видеть. Все смотрят на огонек, все внимание на него, при этом разговор наш не прекращается. Один из сидящих напротив задает мне вопрос, другой толкует мои ответы, как бы разъясняя своему товарищу истинный смысл мною сказанных слов. На деле же все переворачивает с ног на голову.

Мне дают поесть. Судя по вкусу, это старый заплесневелый сухарь и разбавленное вино. Я с отвращением ем и с нарастающей злобой слушаю невидимого мне негодяя, извращающего мои мысли, переводчика, превращающего живые и понятные слова в мертвый и путанный язык терминов.

Пламя дрожит, вот-вот погаснет. Я несколько не сомневаюсь в том, что собеседники только этого и ждут, вот только корысть мне их непонятна. Ждали они, но не дождались.

Я отложил сухарь с вином в сторону, взял свечу и жидкий воск, скопившийся на поверхности свечи, слил на свою ладонь, свечу же поставил на место. Пламя окрепло, стало гореть ровно, и освещенного пространства в комнате заметно прибавилось. Казалось, пройдет еще какое-то мгновение, и я увижу их лица. Но тут они встали и ушли, желая сохранить инкогнито. Но, перед тем как уйти, они жестами показывали, что хотят у меня забрать воск из руки. Я же воск им не отдал, а вместо воска вернул заплесневелый сухарь и разбавленное вино.

Долго я сидел и крутил перед глазами эту теплую кляксу, понимая, что в ней заключена какая-то тайна, разгадка которой, возможно, определит всю будущую жизнь мою. И вот, когда ключ к замку был почти подобран, когда отгадка была так близка, и сердце сладко запело в предвкушении чего-то необыкновенного, над самым ухом своим я услышал голос коменданта нашего общежития:

– Да проснешься же ты или нет? Тебя к телефону требуют.

Я вскочил с постели, посмотрел на свою ладонь, на коменданта и, надев спортивные штаны, пошел к телефону. Я несколько не сомневался в том, что это мое руководство, но услышал в трубке знакомый голос Фелицаты Трифоновны:

– Судя по всему, я тебя разбудила? Приводи себя в порядок и немедленно приезжай, Леонид вернулся.

2

Зовут меня Дмитрий Алексеевич Крестников, родом я из Уфы. Биография простая. Родился, учился, после школы пошел работать. Работать я пошел на фабрику Уфимское швейное объединение «Мир». Подался я туда по двум причинам. Во-первых, потому, что провалил экзамены, поступал в институт на юриста. А во-вторых, став жертвой обмана. Дело в том, что на фабрике работал мой отец, которому недвусмысленно сказали: «Приведешь к нам в дружный рабочий коллектив сына, – дадим обещанную квартиру, не приведешь, жди, пока рак на горе свистнет». Отец поверил, уговорил меня, хотелось пожить отдельно, без соседей, но нас обманули, – никакой квартиры не дали. А потом умер отец, так что и вовсе обещавшие и обманувшие перестали прятать глаза, смело, заявляя, – «Не надейтесь».

На фабрике работал я слесарем, слесарем-ремонтником. Починял гладильные прессы, осноровочные машины и прочую технику. Первое время было непривычно, тяжело и даже гадко, ну, а потом привык. Так, за трудами праведными, перекурами и зарплатами проле-

тел календарный год. Снова начались вступительные экзамены в высшую школу, снова мать, желавшая сыну лучшей участи, стала грызть меня, говоря: «Учись».

На юридический я пробовать уже не стал, поступал по профилю, – во Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности, на электромеханический факультет по специализации «Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности».

Институт находился в Москве, а у нас был филиал. Поступил я легко, но учиться не стал. Как-то раз зашел на общее собрание и все. Никакого желания учиться перед службой в армии не наблюдалось. Все мысли были только о том, куда пошлют, в кого нарядят. На суше или на море придется переносить все тяготы и лишения воинской службы. Какая тут учеба, когда «труба зовет».

Труба позвала меня в строительный батальон, что явилось полной неожиданностью не только для меня, но и для всей моей родни. Ведь меня прочили в самые элитные войска, и служить я должен был непременно в Москве. Дело в том, что дядя Толя, старший брат моей матушки, прапорщик в отставке, служил когда-то в роте почетного караула, а, значит, по их разумению, имел знакомства на самом верху, знал все входы и выходы, должен был хлопотать, рекомендовать. К тому же жил в Москве. Как это ни смешно, но только на этом основании и строились все их чаяния и надежды.

Узнав о решении призывной комиссии, все просто оторопели и терялись в догадках: «Что? Где? Когда? Откуда уши растут?». А отгадка была проста, лежала на поверхности, корнями уходя в приписную комиссию трехлетней давности.

В пятнадцать лет, как законопослушный гражданин, получивший повестку, я прибыл в военный комиссариат на медицинское освидетельствование. Врач-невропатолог, размахивая перед моим носом молоточком, как бы между прочим поинтересовался, не разговариваю ли я во сне.

– А откуда мне знать, – не придав значения глупому вопросу, ответил я, – уж, коль скоро и разговариваю, то сам себя не слышу, по той простой причине, что сплю.

– Так, значит, разговариваете? – ударяя молоточком по груди, локтевым изгибам и коленным чашечкам, настаивал врач, и вдруг, внезапно повеселев и отложив молоточек в сторону, он записал в мою медицинскую карточку какое-то хитроумное слово. На том тогда и разошлись. А в восемнадцать лет, когда настал срок призыва, уже другой врач, расшифровав латиницу, огласил мне это непонятное слово по-русски: «сомнамбулизм». Так, нежданно-негаданно, я в одно мгновение превратился в сомнамбулу. Признаюсь, уже тогда, три года назад, заподозрил я седого специалиста по нервам в чем-то нехорошем. «Не зря, ох, не зря, – думал я, шагая домой, – так возликовал неприятный человек, выводя на бумаге трясущейся рукой заграничное слово».

В старшей группе детского сада, равно, как и в начальных классах средней школы, дети часто выдумывают истории о «лунатиках», эдаких замечательных в своем роде людях, которые под воздействием лунного света оставляют свои теплые постельки и, выбравшись через окно на карниз, гуляют, не просыпаясь, по скользким холодным крышам и электропроводам, подобно канатоходцам из цирка. Под утро, нагулявшись, они, таким же, только им ведомым путем, возвращаются на прежнее место и ничего не помнят, ничего не могут рассказать о своих ночных похождениях. Все эти душеспитательные истории преподносятся рассказчиками в таких подробностях, что у слушателей не возникает никаких сомнений в том, что «сказочники» были непосредственными свидетелями всего произошедшего. У иных фантазия заходит так далеко, что они с жаром начинают уверять в том, что, дескать, и сами последовали за уникальным человеком, но, пройдя карниз и крышу, «ноги скользили, и черные кошки бросались под ноги» (известное дело, где же еще быть черным кошкам по ночам, как не на гребне крыши?). Убоялись, в отличие от «лунатика», ходить по проводам, и вернулись в «партер», наблюдать за канатоходцем со стороны.

В эти наивные истории до конца не верилось, даже в том нежном возрасте, когда учитель знакомил с алфавитом. А тут, что же получалось? Выживший из ума старичок в белом халате, спрашивая о чем-то эфемерном, и сам себе на это утвердительно отвечая, стал коверкать судьбы человеческие, штампуя направо и налево сомнамбул. Возможно, эту сказку поведал ему внук, и он, потрясенный услышанным, решил, что жизнь в профессии только началась. Известно, стар, что млад в одни и те же игрушки играют, в одни и те же сказки верят.

Игрушки игрушками, сказки сказками, но, как вы сами, наверное, догадываетесь, совсем не лестно иметь такой диагноз молодому человеку, готовящемуся стать защитником Родины.

Врачи, расшифровавшие каракули трехлетней давности, взялись расспрашивать меня с таким пристрастием и осматривать с такой тщательностью, что у тех, кто мог бы наблюдать за этим со стороны, непременно бы сложилось мнение, что парня готовят в отряд космонавтов. Как ни расспрашивали, как ни осматривали, ничего подозрительного не обнаружили. Общий вердикт был сформулирован в двух словах: «Совершенно здоров». Истина восторжествовала, разобрались и поняли, что никакой я не сомнамбула. Но не успел я, как следует, этому порадоваться, врачи пошли на попятную, предложили мне, для очистки их совести от последних сомнений, лечь на обследование в психиатрическую больницу. Лечь сроком на месяц, с тем условием, что денежки на фабрике мне выплатят сполна, а заодно предоставят бесплатное трехразовое питание с удобным койко-местом у зарешеченного окна. Меня огорчало недоверие, но надо, так надо, я всегда был дисциплинированным.

В одном отделении со мной были тихие психбольные, бродяги, они же профессиональные нищие, гордо именующие себя странниками. Идейные тунеядцы, денно и нощно бубнившие слова горьковского героя из пьесы «На дне»: «Пусть предоставят мне такую работу, чтобы она приносила мне радость. Тогда, может быть, я и стану трудиться». И трудные подростки, направленные на обследование детской комнатой милиции.

Ничего страшного не было. Кормили сносно, никогда никого не били. Уже через неделю я был там на правах санитаря. Вернули брюки, дали ключ. Я имел свободный выход и вход. А еще через неделю выписали с самыми наивосторженнейшими отзывами. В заключении главврача вместо полагающейся формы «Здоров. Годен к строевой службе» было написано: «Здоров, как бык, годен к службе в ВДВ», то есть воздушно-десантных войсках. Это меня и сгубило.

В военкомате, ознакомившись с подобной резолюцией, пришли к единому мнению, что писавший ее и сам не совсем здоров, а, если это так, то в полной мере доверять ему нельзя. А еще, через неплотно закрытую дверь кабинета до меня донеслось следующее: «Если он две недели провел в психушке, то оружие ему в любом случае доверять нельзя. Не надо ему неба, пусть пороется в земле, человеком станет». И это говорил врач, который до психбольницы сам признал меня здоровым. Какие же бывают кривые души!

Таким вот образом и оказался я в стройбате. Надежды и чаяния родни сбылись наполовину, – не в элитных войсках, но все же в Москве довелось мне служить. Служил я военным строителем, работал на закрытых объектах, где и заработал по тем временам кучу денег.

3

Надо заметить, что в отношениях со слабым полом я сильно отставал от сверстников и это, как казалось, мешало жить, развиваться, лишало нормальных человеческих радостей. В армию я так и ушел, не имея ни невесты, ни просто какой-либо девушки, с которой можно было бы переписываться.

И вот, в армии сослуживец, рассказал мне о том, что переписывается с Таней, переписывается просто, как с одноклассницей, а еще рассказал о том, что она ему прислала адрес своей знакомой, которой он намеревался теперь писать с серьезными намерениями. Мне же сказал: «А ты, давай, пиши Таньке, и всем будет хорошо». Я стеснялся, он уговаривал, и, в конце кон-

цов, мы с ним вместе сочинили письмо. Таня ответила, фотографию прислала, и завязалась переписка. Она – про институт, про лекции, про экзамены, я ей – про армейскую жизнь. Она мне – про знакомую, я ей – про сослуживца. Потом, работая во вторую смену, я из прорабской имел возможность, набрав номер по коду, разговаривать с ней по телефону, что с успехом и прodelывал. Голос ее мне нравился. В армии все, что связано было с гражданкой, нравилось.

Потом пошли как-то с сослуживцем в увольнение, зашли в телеграф-телефон, что на Соколе, и со смехом долго рядились перед тем, как отправить телеграмму. Сослуживец написал своей: «Я тебя люблю». Я не стал так писать, но что-то тоже с амурным смыслом отправил. Теперь не помню, что тогда написал, помню, что чем ближе подходила служба к концу, тем все чаще я писал Тане. Договорились, что сразу после демобилизации я приеду к ней. Приеду, не заезжая домой.

Службу закончил я в ноябре, взял билет в Омск, и туда, к ней. Дорогу знал. Сначала приехал к ее подруге, к той самой, с которой сослуживец переписывался, и вместе с ней поехали к Тане. Подруга прямо у автовокзала жила, а до Тани далеко было ехать.

Пришли, Тани дома нет, она была в институте, училась в ИПГС (Институт промышленного и гражданского строительства). Стоим на улице, ждем, и вдруг подруга сослуживца говорит: «Идет». У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло, я ее до этого никогда не видел. Смотрю, – в белой куртке, немного не такая, как на фотографии, невысокая. Не такая, какой я ее себе представлял. То, что невысокая, я это как-то особенно про себя отметил.

Было застолье, водка была, с нами еще и сестра ее старшая за столом сидела. Я остался у них ночевать. Помню, ночью не спал, спать не мог, встал, стал ходить по комнате. Хотелось поговорить с Таней, побыть с ней наедине, а она спала в другой комнате, спала с сестрой.

Ходил я от волнения, а еще и затем, что хотел обратить на себя внимание, дать понять, что я не сплю, думаю, может, она выйдет. А ей утром в институт, на лекцию, нужно было спать, выспаться, но она тоже не спала (это она мне потом сказала), ворочалась, но встать, прийти не могла, сестра ее старшая нас караулила. Находившись, притомившись, я под самое утро уснул. Уснул и не заметил, как они разошлись, кто на работу, кто на учебу.

Я ездил встречать Таню в институт, мы гуляли по городу, заходили в кафе. Денег у меня было много. Таня стала пропускать занятия, я переписывал за нее лекции. Говорили с ней много, говорили взахлеб. С недельку я у них пожил и поехал домой, дома меня тоже ждали.

Приехал и стал писать каждый день письма, а она мне стала на них отвечать. В письмах писал обо всем. Что видел, что не видел, что слышал, о чем думал, – все писал. Казалось, что всем с ней надо поделиться. И она так же себя вела, понимала меня, была полностью в этом со мной согласна.

На Новый год у нее были каникулы, она приехала ко мне. Встречали Новый год у моего школьного друга, там же и спать с ней легли, под самое утро. Спали с ней, как святые угодники, как монах и монашка, как брат с сестрой. Не обнимались, не целовались. Как-то незачем было, от одной ее близости было хорошо.

Она в Уфе так же с недельку пожила, потом поехала домой в Омск. И тут что-то произошло, что-то сломалось внутри меня. Это случилось в тот момент, когда я в поезд ее посадил. Посадил ее в поезд – и все. Наступило какое-то безразличие, и какое-то облегчение посетило душу мою. Начались сомнения. Я не писал ей долго писем, но потом снова разошелся, оставил грустные мысли и стал писать. Она интересовалась моим молчанием, сама письма два или три прислала, спрашивала: «Что случилось? Почему не пишешь?». Я придумал тогда что-то, как-то заболтал ее.

Опять в письмах сговорились, я поехал к ней. Приехал и понял, что отношения наши изменились. То, не целуясь, было хорошо, а тут она стала лезть ко мне с ласками, а я, когда с интересом, когда без интереса, стал на это отвечать. Сильное чувство пропало, но, несмотря на это, я в этот приезд свой пообещал на ней жениться. Были у нас с ней об этом разговоры.

Родители ее на Севере, в Надыме работали, что-то я к ним туда за длинным рублем соби-рался ехать, на свадьбу зарабатывать. Я им даже письмо написал. А потом вернулся я из этой поездки и понял, что не могу ни в Надым ехать, ни на Тане жениться. Понял я это и долго мучился. Таня письма писала, я отвечал односложно. А потом я ей бабахнул письмецо и все. Написал в письме жестокую правду, написал, что во мне что-то произошло, что-то изменилось, раньше было так и так, а теперь того уже не чувствую и не хочу обманывать. А она все винила себя, что это она виновата, что это она не так что-то сделала. Она была хорошая, добрая, акку-ратная, следила за собой, белую куртку свою по два раза в неделю стирала, но разонравилась, бывает так.

Потом сестра ее старшая мне прислала письмо. Называла меня болтуном, сопляком, не знающим жизни (все это от обиды, но, как это ни горько признавать, во всем была права), написала, что Таня очень переживает наш разрыв, даже лежала после моего письма в боль-нице. Я сильно страдал, но не находил возможным вернуться. Помыкался, помыкался, и поехал в Москву.

Приехал в столицу, сходил в контору, где служил, переговорил с начальством. Сказали, работай, общежитие дадим, вызов сделаем, и не обманули. Я в Уфе работал на той же швейной фабрике, с которой в армию ушел, прислали на фабрику вызов, и меня без отработки уволили.

Приехав в Москву, жил неделю у вольнонаемного, потом дали общежитие в Красногор-ске. Из Красногорска переехал в Кунцево, на улицу Ивана Франко, а затем в Текстильщики. Вместе со мной в общежитии жили работяги, такие же, как я, инженеры-строители, одинокие приезжие офицеры-двугодичники, те, которых после строительного института в армию посы-лают.

4

Жил я в общежитии, работал на стройке, по выходным дням ходил в театры и кино. Ходил бессистемно, нравилось все, что было не похоже на ту жизнь, которая истязала меня по буд-ням. Просто покупал в театральной кассе билет, все равно, куда и шел на представление. Так однажды попал на такое, которое буду вспоминать всю свою жизнь.

Проходило оно в зале Политехнического музея, в том самом зале, в котором когда-то читали свои стихи Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, пел песни Окуджава, срывая громогласные аплодисменты благодарной публики. Но в тот раз ни поэтов, ни бардов, ни апло-дисментов не было. А был старый, больной чтец с крашеными в каштановый цвет волосами, а из публики – два вьетнамца и я.

Я всегда верил людям, поверил и той пожилой женщине, сидевшей в театральной кассе, продававшей билеты, и в очередной раз попался. А она постоянно меня обманывала. Видимо, на лбу у меня было написано, что я никудышный специалист в выборе репертуара, и поэтому она подсовывала мне самые плохие билеты. Я интуитивно чувствовал обман и, как бы взывая к ее совести, спрашивал:

– А там будут зрители, кроме меня?

– Ну, что вы, конечно, – отвечала она, – там просто яблоку негде будет упасть.

– Если вы меня обманываете, – шутливо, но с легким оттенком недовольства говорил я, – то пусть вас разобьет паралич.

Она испытующе поглядывала на меня, какое-то время размышляла, а потом говорила:

– Договорились. Покупайте билет, и, если я лгу, пусть меня разобьет паралич.

И что же, – я покупал билет, шел на представление и, как обычно, был ею обманут. Я не сердился на нее, не топал ногами, не говорил «чтоб тебя...». Но ее на самом деле скоро парализовало. Об этом я узнал случайно, от человека, заменившего ее в театральной кассе. Менее всего я склонен думать, что это случилось из-за того, что она обманывала меня.

Но почему-то я совершенно уверен в том, что, если бы она не лгала, то этого бы с ней не случилось.

Крашенный чтец читал бездарные стихи неизвестных авторов. Все их достоинство заключалось в том, что они являлись членами Союза писателей, и чтец был лично с каждым знаком. Он читал стихи осипшим слабым голосом и сам себя записывал на магнито пленку, для чего огромный катушечный магнитофон установил прямо на сцене.

Все было отвратительно, плохо и, конечно, следовало бы встать и уйти, но я это сделать стеснялся, сидели и вьетнамцы. Чтец был глуп и очень самоуверен. Уверял что трудности с посещением временные, что стихи хорошие, что исполнитель гениален, и он надеется, что вскоре на его выступления снова хлынет народ.

А еще я не уходил потому, что обманщица, продавщица билета, сказала, что во втором отделении будет концерт. Но и во втором отделении, кроме чтеца, никого не было, и это, в своем роде, действительно был концерт.

Вьетнамцы убежали, я сидел в зале один, клевал носом, засыпал, просыпался, а чтец все декламировал. Читал, не замечая, а, может, просто не желая замечать того, с каким интересом я его слушал.

После этого представления я стал разборчивее, более того, стал ходить только в один театр. Театр МАЗУТ. Московский академический замечательно устроенный театр. Он был на самом деле замечательно устроен; от метро в двух шагах, билеты в кассах были всегда, залы удобные, к тому же примой театра была Красуля, кумир всей моей жизни, актриса, в которую я влюблен был с пеленок, чей портрет когда-то вырезал с обложки журнала «Советский экран» и повесил в изголовье своей кровати. Она совсем не изменилась, практически каждый день выходила на сцену и блистала во всей своей красе, такая живая и обворожительная.

А в буфете всегда вкусно пахло кофеем и всегда были бутерброды со свежим сыром и ветчиной. Поешь бутербродов, попьешь кофею, не спеша, походишь, помотришь фотографии актеров, висящие в фойе, нарядных людей, пришедших на постановку, по этому фойе прогуливающих. Затем звонок. Тебя вежливо просят занять свое место, а в зале свой особый запах, особый аромат. Тишина. А еще через мгновение гаснет свет, звучит музыка, на сцене начинается волшебство.

После спектакля я, как правило, не спешил в общежитие, гулял, наслаждался полученными впечатлениями. А с утра совсем другая атмосфера, совсем другие запахи и звуки. Совсем другой мир.

Когда работа на стройке фактически была срочной службой – это было одно, теперь же, когда жил я, как казалось, вольной жизнью, та же самая работа стала для меня постылой и невыносимой каторгой. А иногда я ловил себя на мысли, что служба для меня продолжается. Не спасала большая зарплата и свободное время. Тем более, что общежитие от казармы не слишком и отличается, по крайней мере, по духу. Настроение, за редким исключением, почти всегда было отвратительным, временами просто жить не хотелось. Не видел просвета, не в состоянии был определить для себя хоть каких-нибудь, пусть самых жалких, обманчивых и ничтожных, перспектив.

И, вдруг, случилось чудо. Именно чудо, иначе никак не назвать. Машинально в метро купил газету «Вечерняя Москва», чего никогда не делал, и вдруг внимание мое привлекла небольшая записка, словно набранная в номер именно для меня: «Дорогой друг! Приглашаем тебя в театральную студию Дворца культуры «Знамя Октября» (руководитель – народная артистка РСФСР Ф. Т. Красуля). В нашем коллективе помимо текущей работы ведется подготовка к поступлению в театральные училища. Первое занятие «такого-то», во «столько-то». Далее шел адрес Дворца культуры, перечень транспортных средств, на которых можно было добраться, телефоны для справок.

У меня из груди чуть было сердце не выскочило. Я чуть было не задохнулся. Сознаюсь, что подобного не случилось со мной никогда, ни до, ни после. Я понял, что это как раз то, что меня спасет, та дорожка, по которой нужно идти, та вершина, к которой нужно стремиться, то солнце, в лучах которого все станет ясно и понятно, та самая новая жизнь, о которой я столько мечтал.

Заметки, подобные этой, читал я и раньше, но раньше я был не готов, да и в каждой из этих заметок были к тому же отпугивающие слова: «Проводится конкурсный набор». А это означало, что будет отбор, с кем-то придется драться за место, соревноваться. Писали, что необходимо будет декламировать стихи. Стихов знал я достаточно. Даже работая на объектах, сам для себя устраивал концерты. Как-то раз подошел прораб, понюхал, не пьян ли я и ушел в недоумении.

Да, стихи я знал, стихи я любил, но читать их строгой комиссии? Нет. Я к этому был не готов. Я побаивался. А это объявление в «Вечерней Москве» тем и прельщало, что ни тебе отборов, ни тебе комиссий, к тому же художественный руководитель – сама Красуля. Неужели ж в самом деле она? Конечно, этого быть не могло. В лучшем случае использовали ее имя, как приманку. Она, возможно, об этом даже и не догадывается. Одна только мысль оказаться с ней рядом приводила в трепет. Это же богиня, живущая на Олимпе, а мы – смертные, жалкие, маленькие.

И все же в назначенный день я во Дворец культуры не поехал. И не потому, что нашлось какое-то срочное дело. Просто в очередной раз испугался. А, что как западня? Я к ним с чистым сердцем, с высокими намерениями, с искренними мыслями, а там комиссия, которая устроит точно такой же отбор, как и везде, да еще в ее присутствии, не приведи Господи. Разве что-нибудь я смогу прочесть? Прогонят с позором. Вот чего я боялся. А в новую, волшебную жизнь хотелось. И тогда я пошел на хитрость. Раз, думаю, вы берете без экзаменов, то я к вам и зайду будто бы случайно, дескать, шел мимо и зашел. А если на первое занятие прийти, то тут уж не отвертишься.

Все эти размышления и страхи возможно, покажутся вам сумасшествием, и вы будете правы. Мечта о другой жизни, другом воздухе, другом окружении сделалась к тому времени моей навязчивой идеей. И дело не в том, что надоело ходить в сапогах, месить на стройке грязь, слушать с утра до вечера известные всем словеса. А дело в том, что театр стал для меня символом. Символом настоящей, истинной жизни, а уж потом только всем остальным, то есть местом, где тепло и светло, где ходят в чистом и не бранятся. На фабрике, на стройке, я хоть и маскировался под слесаря, под каменщика, и все верили, что я свой, сам-то я в глубине души знал, что живу шпионом, живу не своей жизнью, что где-то есть моя жизнь, к которой я тянусь и к которой я рано или поздно приду, к которой нужно стремиться, преодолевая преграды. И я стремился, стремился изо всех сил, вот почему во мне было столько страха и столько опасений перед тем, как сделать свой первый шаг на ниве Вечного искусства.

На стройке я о своих планах не распространялся, обмолвился один раз, меня просто не поняли. Я попробовал помечтать вслух, сказал, что не плохо бы быть актером. Меня все, как один, подняли на смех. «Конечно, не плохо, – отвечали мне, – деньги лопатой грести, да актрисок красивых трясти». Они только в этом диапазоне актерскую жизнь и рассматривали. Признаюсь, что и я тогда об этом много думал, но, конечно, не так грубо, а, главное, совсем не это меня манило. Я, как ни высокопарно это прозвучит, видел в театре возможность для реализации своих творческих способностей.

– А главное, делать ничего не надо, – продолжали коллеги-строители рассуждать про актерскую жизнь. – Вышел на сцену, морду скорчил, все засмеялись, иди в кассу, получай «копейку». И слава тебе за это и почет. А помесил бы он раствор хоть полсмены, посмотрели бы на него, какой он «артист».

Так или почти что так заканчивались разговоры о людях умственного труда – ученых, писателях, режиссерах, учителях, врачах. С тех пор о сокровенном я стал помалкивать, но свое, однако ж, разумел.

Перед тем, как идти во Дворец культуры, я нарядился. Оделся так, как, по моему мнению, должны были одеваться актеры и все те молодые люди, которые претендовали на это звание. Я нарядился в летнее, светло-серое габардиновое пальто с серебристой подкладкой, купленное отцом для себя, но так ни разу не надеванное, в широкополую мышинового цвета шляпу, шею обвивало кашне, на мне была новая белоснежная сорочка, кремовые брюки, светлые португальские туфли. Все в тон, не хватало только автомата Томпсона, и был бы вылитый гангстер двадцатых годов из города Чикаго.

Я шел во Дворец культуры совершенно не веря в то, что мой кумир, та женщина, в которую я с детства был влюблен, руководит какой-то студией. Неужели ей не хватает театра, радио, кино, творческих встреч, концертов, наконец. Я понимал, что это будет не она (если вообще кто-нибудь будет), и все же надеялся на чудо. И то, что, войдя в кабинет руководителя студии, я ее не узнал, меня спасло. А иначе, точно упал бы в обморок. Не в самый подходящий момент я вошел.

В кабинете находились две женщины. Пожилая и молодая. Обе, как молью побитые, без макияжа, плохо одетые, растрепанные. Пожилая, заметно превозмогая страшную боль, слабым надтреснутым голосом старалась кричать на молодую.

Узнав о причинах, побудивших меня столь стремительно ворваться в кабинет («Даже без стука, а вдруг мы здесь голые?»), пожилая женщина выставила молодую за дверь, а со мной стала беседовать. И вот тут я ее узнал, а, точнее, догадался, что это пугало и есть моя Краса Ненаглядная.

Я стал пристально смотреть на ее мрачное лицо, на ее потухшие ввалившиеся глаза. И она, чтобы как-то оторвать меня от этого бесцеремонного рассматривания, попросила в качестве своеобразного экзамена на пригодность, что-нибудь прочесть. И вот тут-то я опомнился и растерялся. И во второй раз, после прочтения заметки, чуть было не лишился чувств.

Я стал читать первое, что пришло на ум, но так и не закончил стихотворение. Не хватило воздуха. Я стоял пунцовый, чувствовал, что щеки мои горят, губы пересохли, слышал и не узнавал свой собственный голос, который, помимо моей воли лепетал что-то невнятное, оправдательное. Глаза мои просили пощады.

– Боишься, что в студию не возьму? – спросила Красуля и после продолжительной паузы успокоила. – Возьму. Не бойся. Но ты ведь по весне в театральное училище убежишь.

Последние слова сказала она как бы против воли и тут я сообразил, что обещание о подготовке к поступлению, прописанное и продекларированное в объявлении, было обманом, что, собственно, на тот момент меня не очень огорчало, ибо о поступлении в театральное училище я тогда и не помышлял.

На том наше собеседование и закончилось. Красуля велела мне сдать верхнюю одежду в гардероб и отправляться на занятие по актерскому мастерству, которое решила провести сама.

Дело в том, что двух предыдущих занятий не было. С вновь набранными студийцами не занимались. А должна была проводить занятия та самая молодая актриса, которой Красуля при мне в кабинете, делала выволочку. Звали молодую актрису Вера Спиридонова, о ней рассказывали впереди, а мы вернемся на занятие по мастерству, которое проводила сама Фелицата Трифонова Красуля, народная артистка РСФСР.

И вот что значит чудо преображения. Фелицата Трифонова начала занятие и куда подевались ее мрачность и обреченность. Она за какие-то полчаса из болезненной старухи превратилась в веселую, звонко смеющуюся молодницу. И мы, студийцы, конечно, все были счастливы.

Фелицата Трифионовна хотела найти Спиридоновой замену, но так и не нашла. Занималась с нами сама, отчего, помимо мастерства, мы получали массу положительных эмоций.

Фелицата Трифионовна была прирожденным педагогом, она занималась с нами актерским мастерством, сценической речью, а уроки сценического движения нам преподавал Кирилл Халуганов, служивший с Фелицатой Трифионовной в одном театре. Представился он Кирей, и просил нас именно так его и называть. Был он старше меня на десять лет, но такое ощущение, что хотел казаться младше ровно на столько же. И ему это удавалось. От взрослого мужчины в нем была одна только внешность, он был настоящим мальчишкой, шkodливым и не всегда разумным. Кроме того, что он служил с Фелицатой Трифионовной в одном театре он так же являлся другом ее сына, Леонида Москалева, который на тот момент отдавал свой воинский долг Родине и должен был демобилизоваться по весне.

Фелицата Трифионовна сына очень ждала, связывала с ним большие надежды на будущее. Рассказывала интересные истории из его жизни. Запомнилось, как Леонида хотели крестить. Свидетель, то есть крестный, носил трехлетнего Леонида на руках, священнослужитель, совершая обряд миропомазания, обмакнул струец (кисть для помазания), в миро и начертал им на челе у Леонида крест, приговаривая при этом: «Печать дара духа святого. Аминь». Быть может, делай он все это побыстрее, и не случилось бы того, что случилось. Помазал бы глаза, уши, ноздри, уста, другие главнейшие части тела и дал бы знак облачать дитя в белую одежду, но, так как все священнослужителем делалось не абы как, а с полной душевной отдачей, то и вышел вместо крещения спектакль.

Пока благообразный священнослужитель с серебряной бородой говорил: «Печать дара духа святого. Аминь», Леонид, тем временем своей маленькой ручкой стер со лба миро и, неприязненно посмотрев на священника, не по-детски зло и серьезно спросил: «Ты что, дурак?». Многие из присутствовавших на крещении, следившие за обрядом, приснули смешком, впрочем, тут же постарались спрятать свои ухмылки в кулаки.

Батюшка, сделав вид, что ничего не произошло, снова обмакнул струец в миро и вторично нарисовал на челе у Леонида крест. Тут-то и случилось совсем непредвиденное. Мало того, что вконец вышедший из себя младенец тут же снова стер рукой крест, не позволив батюшке даже произнести положенные при этом слова, он посмотрел на батюшку сверху вниз, что было не сложно, так как Леонид сидел на руках, а батюшка был невысокий, посмотрел уничтожающе строго, покачал укоризненно головой и, с какой-то циничностью, не свойственной нежному возрасту, сказал: «Я думал, ты дурак, а ты дур-р-р-ак!». На этом попытка крестить Леонида закончилась.

С предполагаемым крестным, Елкиным, державшим Леонида на руках, случилась истерика. Он стал хохотать. Это был человек театральный, хорошо Фелицате Трифионовне известный. Она знала, что, если на него нападет, то раньше, чем через полчаса не отпустит. Она схватила сына в охапку и, прячась от глаз людских, убежала.

Фелицата Трифионовна очень заразительно рассказывала о том, как сын ее, учась в первом классе средней школы, ругался с учителем. Конфликт случился из-за того, что Леонид требовал от педагога не свойственного в наших школах к себе обращения. А именно хотел, чтобы тот называл его по имени и отчеству. Учитель свирепел, говорил, что нет никаких оснований так величать ученика Москалева (учитель и по имени-то никого не называл), на что Леонид отвечал так:

– Если нет основания называть по имени и отчеству тех, кто завтра станет великим ученым, знаменитым писателем или прославленным полководцем, то не находите ли вы, что тем менее оснований у нас величать по имени и отчеству человека, жизнь которого не удалась, человека, который за свои пятьдесят лет выше учительшки начальных классов не прыгнул?

– Молчать, щенок паршивый, – кричал учитель. – Убирайся прочь, я не намерен тебя учить!

– Сам молчи, пес шелудивый! – еще громче кричал Леонид. – И никуда я не пойду. Учить он меня не намерен! Ты не из прихоти своей здесь штаны протираешь, тебе деньги платят за то, чтоб меня учил. Вот и учи. А то пойдешь сам по миру с волчьим билетом. Станешь бродягой.

Видимо, не так складно говорил семилетний Леонид, но даже, если учесть, что сотая часть из рассказанного Фелицатой Трифоновной правда, то я представляю, как опешил и растерялся учитель. Нам в школе такое не позволялось, мы трепетали перед учителями, они держали нас в ежовых рукавицах. Леонид, видимо, воспитывался иначе. После этого случая с учителем, со слов Фелицаты Трифоновны, директор ей так сказал о Леониде:

– Этот мальчик или взлетит очень высоко, или падет так низко, что даже страшно представить.

Увлечение театром все смелее входило в мою жизнь, заполняя ее практически полностью. Прораб, стал странно на меня поглядывать. Видимо, внутреннее изменение моего душевного строя, то есть строя души и мыслей, отражалось и на лице, и на поведении. Мой оптимизм, моя веселость его сильно раздражали. Несколько раз он подходил ко мне, как дорожный инспектор к подозрительному водителю и просил «дыхнуть». Ему очень хотелось, чтобы от меня пахло. Пьянство он бы мне простил, но веселое расположение духа и трезвость он никак мне прощать не хотел. Начались трения, беспричинные придирки. Они меня не слишком задевали, так как жил я совсем другим, и это злило его еще сильнее.

Кончилось все очень плачевно. Прораб попал в больницу с инфарктом миокарда. Когда я, выбиваясь из радостного хора своих коллег (радостных по поводу инфаркта), попробовал сказать о нем добрые слова, то мне открыли заговор, составлявшийся против меня. Оказывается, прораб подговаривал ребят «поучить», то есть побить меня. И поил их для этого водкой, обещал премии, но те пили, поддакивали, премии получили, но «учить» не стали. Сказали: «Не учи ученого, съешь чего-нибудь печеного». Тут он и слег, не выдержав обмана и такого бездушия. Я и это ему простил.

Увлечение театром изменило всю мою жизнь. Я стал читать книги. Имея список, данный мне Фелицатой Трифоновной, я стал потихоньку штудировать Пушкина, Гоголя, Островского, Лермонтова, Ахматову, Мольера. Тот, по словам Фелицаты Трифоновны, минимум, без которого в театральном деле и шагу нельзя ступить. Она хотела нас, студийцев, видеть образованными, и я старался в меру своих сил ее не огорчать.

Говоря о нашей необразованности, Фелицата Трифоновна была права. Я действительно ничего из предложенного к ознакомлению до этого и в руках не держал, а если что-то и слышал, то это долетало из далекого далека. Поэтому, когда, увидев меня с книгой «Война и мир», брат моего соседа по общежитской комнате (он приходил к нам в гости, сам трудился на ЗИЛе) захохотал, я сразу понял причину. И весь глубинный смысл такой его реакции. Он считал меня за своего, все одно, что за себя. А для него Л. Н. Толстой, не то, чтобы немислимое чтение, а просто ненужная трата времени. Он представил, наверное, себя, сидящим на койке с серьезным лицом, делающим вид, что читает, что ему интересно. Он хохотал громко и долго, словно его щекотали насильно, приговаривая при этом: «Ой, не могу! „Войну и мир“ читает!». Он был веселым добродушным парнем и рассказывал много интересного о своей жизни. С собой он постоянно приносил крепленое вино, после которого и у меня, и у соседа болела утром голова.

Кроме чтения книг я стал более осмысленно посещать выставки и театры. В «Замечательно устроенный» ходил, как к себе домой. «Гамлета», в постановке худрука театра Букварева, в котором Фелицата Трифоновна была Гертрудой, смотрел без малого семь раз.

Где-то в начале марта я сказал Фелицате Трифоновне, что намерен поступать в театральное училище. Она, вопреки моим опасениям, отнеслась к этому очень благосклонно. И даже стала меня готовить. Уроки проходили у нее на дому.

Глава 2 Фелицата Трифоновна

Дом, в котором жила Фелицата Трифоновна, был особенным. Парадная лестница с витражами на окнах, стеклянная шахта лифта. Все это поразило меня при первом посещении ее дома своей красотой и размахом. Собственно, только так и должна была жить любимая актриса миллионов, как я это понимал. Квартира поразила еще сильнее. Особенно интерьер комнаты сына. В углу, у окна, стояла настоящая телефонная будка и телефон в ней работал. Причем первый советский, тот самый, который использовал в своем музыкальном киноролике Леонид Утесов, когда из телефонной трубки пил чай и одновременно говорил в нее.

По всем стенам, даже на потолке и в полу, были двери в рамах, разумеется, ложные, так что попадая в эту комнату впервые, не оставляло ощущение того, что ты попал в какой-то ирреальный мир или в мастерскую фальшивомонетчиков, заблаговременно позаботившихся о путях отхода. Над ближайшей ко мне двери справа была надпись «Проход из поюстороннего в потусторонний мир». А чуть ниже два звонка, розовый и черный, так же с буквами «Ад» и «Рай», разумеется, наоборот, под розовым, конечно, было «Рай» написано. У окна, на огромном старинном диване, лежал плюшевый медведь с лысым протертым боком, главная особенность которого состояла в том, что он, в отличие от своих игрушечных двойников, набитых опилками, имел мужской пол и соответствующие причиндалы, на это указывающие.

На стене висела картина, поразившая меня более всего. Собственно, это даже была и не картина, а художественная фотография в раме, размерами метр на полтора. Среди бескрайних бесплодных равнин, на фоне высокого, почему-то зеленого неба, стоял он, Леонид, сын Фелицаты Трифоновны. Был он в образе низвергнутого ангела, в образе сатаны. В холодном взгляде серебряных блестящих глаз, была и сила, и власть, и хитрость, и ум, и бессмертие. Все в них было, вот только любви не было. И поэтому, глядя в эти глаза, появлялось какое-то тяжелое, гнетущее чувство безысходности, жить не хотелось. Неприятный, страшный взгляд. Лицо и тело поражали своей правильностью и какой-то нечеловеческой красотой. Выющиеся, влажные волосы были зачесаны назад и походили на извивающихся червей. Я даже сморгнул, мне показалось, что эти черви ожили и зашевелились. За спиной красовались огромные, пурпурно-алые крылья. Страшное ощущение испытал я, рассматривая эту фотографию, жутко мне стало. Вроде ничего особенного, но этот образ, против воли моей, въелся, впечатался в мозг мой, в мое воображение и стал жить там собственной жизнью.

Признаюсь, после того, как я увидел эту фотографию, не спал всю ночь. А в те короткие мгновения, когда веки смеживались, меня сразу же кто-то невидимый принимался душить и я кричал в голос, звал на помощь, чем не на шутку напугал своих соседей по комнате в общезитии.

Очень понравилось мне в комнате Савелия Трифоновича. С разрешения Фелицаты Трифоновны я прошел в комнату ее брата, чтобы полюбоваться на диковинных рыбок и собственно на сами аквариумы.

Сразу бросилась в глаза простота и аскетичность обстановки, чистота и опрятность. На каменном подоконнике, в стеклянной банке с водой стояли веточки тополя, уже пустившие крохотные нежные, салатовые листочки. Такими беззащитными и в то же время манящими после долгой холодной зимы, они мне показались, что захотелось их потрогать, но я удержался, только вдохнул аромат. Это был аромат надежды, надежды на жизнь, на весну, на все самое хорошее, что только можно себе представить в свои двадцать лет.

По обе стороны от банки с тополиными ветками стояли макеты фрегатов, сделанные из дерева, лоскутков и ниток. Выполнены они были с большим знанием дела, а, главное, с любовью. Приятно было смотреть на них и осознавать, что сделано все это великолепии человеческими руками. В углу, сокрытые от прямых солнечных лучей специальной деревянной пере-

городкой, стояли те самые чудо-аквариумы. Их было два. Первый знаменит был тем, что в нем была морская вода и жили удивительной красоты рыбки, морские звезды, коньки и ежи, то есть славен был диковинной живностью.

А второй, с простой водой, с простыми рыбками, был интересен своим оформлением. Фелицата Трифонова мне рассказывала, что когда-то на дне аквариума был макет города Калязина, затопленного водами Рыбинского водохранилища. Макет, разумеется, не всего города, а его части, с домиками, улицами, с колокольной, верхушкой своей торчащей из воды. По поверхности плавала кормушка в виде лодки с отдыхающими на ней людьми. Затем Савелию Трифоновичу такое дно надоело, и он взялся за новый макет. Теперь на дне стояла затопленная шхуна, весь корпус ее был сплошь в тине и ракушках, паруса были оборваны и обтрепаны, висели лохмотьями и своим цветом не отличались от других частей корабля. Судно было насквозь пробито, прямо по центру корпуса зияла огромная дыра. Все это было специальным светом подсвечено. Впечатление от увиденного усиливалось картиной, приклеенной к задней стенке аквариума. На ней в перспективе было изображено несколько таких же погибших шхун, что давало ложное ощущение некогда произошедшего на поверхности жестокого боя.

Когда мне наскучило созерцать подводное царство, я стал осматривать комнату. Стол, стул, одноместная кровать, застеленная солдатским одеялом, точь-в-точь таким же, под которым я два года спал. Особый интерес у меня вызвали книжные полки. Я подошел к ним поближе и по корешкам книг стал читать их названия:

Франц Меринг. «Очерки по истории войны и военного искусства».

Г. Лорей. «Операции германо-турецких морских сил в 1914—1918 гг.».

Г. К. Жуков. «Воспоминания и размышления».

К. К. Рокоссовский. «Солдатский долг».

А. Василевский. «Дело всей жизни».

И. Уборевич. «Подготовка комсостава РККА».

А. И. Егоров. «Разгром Деникина».

И. Якир. «Десять лет тому назад».

В. Триандафилов. «Характер операций современных армий».

Н. Тухачевский. «Вопросы высшего командования».

М. В. Фрунзе. «Собрание сочинений».

На другой полке стояли:

«Моторист спасательного катера»

«Пособие для водителей катеров»

«Учебник судоводителя-любителя»

«Справочник по катерам, лодкам и моторам»

«Под парусом в шторм»

«Аварии судов»

«Волны вокруг нас»

На третьей полке стояли:

«Устройство и работа двигателей»

«Учебник автолюбителя»

«За рулем по Москве»

«Теория и конструкция автомобиля»

«Ремонт автомобиля ГАЗ-21 (Волга)»

На четвертой полке:

«Книга рыболова-любителя»

«Болезни прудовых рыб»

«Леса. Моря»

«Аквариумное рыбоводство»

- «Определитель птиц фауны СССР»
- «Аквариум в школе»
- «Овощи – родник здоровья»
- «Краткий справочник садовода»
- «Размножение растений»
- «Производство продуктов животноводства в личном хозяйстве».

Художественной литературы я у Савелия Трифоновича не нашел, были все книги специальные.

Я настолько увлекся чтением корешков, что совершенно не услышал, как щелкнул замок входной двери и в квартиру вошел Савелий Трифонович. О его приходе я узнал лишь потому, что вышедшая к нему навстречу Фелицата Трифоновна прямо в прихожей, громко и возбужденно заговорила:

– Савелий, надо что-то предпринять, я получила известие из части, Леонид под арестом. Он убил человека. Надо хлопотать. Позвони своему другу, военному прокурору. Если сына посадят, я этого не переживу.

Я хотел выйти из комнаты, но так и остался стоять у дверей, прислушиваясь. В коридоре воцарилась тишина. Савелий Трифонович долго молчал, молчала и Фелицата Трифоновна. После затянувшейся паузы послышался шум снимаемого плаща, видимо, Савелий Трифонович раздевался, и вместе с шелестом зазвучали его слова, полные горечи и сожаления:

– Эх, молодежь, молодежь... Ругаются матом, сил нет терпеть. И на улице, и в транспорте, кругом одна матерщина. Одно «хэ» да «пэ», со всех сторон.

Видимо, опасаясь того, что брат скажет еще что-то нелестное в адрес молодежи, Фелицата Трифоновна залепетала:

– Да, забыла тебя предупредить, у нас гости. Мой ученик, – она выдержала многозначительную паузу и позвала меня, – Дмитрий! Оторвись от аквариумов, выйди к нам. Я хочу тебя представить брату.

Выждав какое-то мгновение, чтобы тотчас не открывать дверь, я вышел в прихожую, готовый к знакомству, как мне казалось, совершенно без тени того, что я подслушал разговор. Но брат с сестрой, конечно, все поняли, да они и не собирались делать тайны из этого страшного известия. Они были хоть и не простыми, но открытыми людьми.

Внимательно рассмотрев меня, Савелий Трифонович светло улыбнулся и, крепко пожмая мне руку, с каким-то юношеским озорством вдруг спросил:

– Как думаешь, сколько мне лет?

– Сейчас скажу точно, – растягивал я ответ, всматриваясь в его лицо, – шестьдесят.

– Правильно! – Захохотал Савелий Трифонович от радости, довольный тем, что я ошибся на полтора десятка лет. – А звание какое?

– Генерал-полковник! – выпалил я.

– Гляди, угадал. А специальность?

– Легчик-истребитель.

– Нет, флотский я. – С гордостью заявил Савелий Трифонович и, заметив, что верхняя пуговка на рубашке у меня расстегнута, мягко, но в то же время тоном, не терпящим возражения, сказал:

– Застегнись.

Потом я буду знать, что эта привычка к порядку выработалась у него за долгие годы службы и, приходя в этот дом, а я буду бывать в нем часто, стану всегда застегивать и пиджак, и рубашку на все пуговички.

Сняв с себя и свитер в прихожей, Савелий Трифонович причесался и пригласил меня к себе. А Фелицата Трифоновна так и осталась стоять, не получив никакого ответа.

В той комнате, где я уже был, находился и секретер. Савелий Трифионович отпер его ключиком, дернул дверцу на себя, и эта дверца сразу же превратилась в стол. А из недр секретера приветствовал нас разнокалиберный строй коньячных созвездий. Там же у Савелия Трифионовича хранилась плитка шоколада, лимон, чистая тарелочка и острый ножичек, чтобы не ходить на кухню по такому пустяку, как нарезать лимон.

Не спрашивая меня ни о чем, он приготовил закуску, – нарезал лимон и наломал шоколада, – разлил коньяк и, подавая мне рюмку, сказал:

– Давай, солдат, за то, чтоб не было войны, и наши специальности никогда бы не пригодились.

Разумеется, я промолчал о том, что по военной специальности каменщик.

Мы чокнулись, выпили, потянулись к лимонам, тут-то Фелицата Трифионовна в комнату и вошла. Посмотрев на нее, Савелий Трифионович рюмки убрал. Я решил, что он ее боится, но это предположение было ошибочным. На место рюмок явились стаканчики. Брат и сестра молчали. Молчали не потому, что я мешал им говорить, а потому, что Фелицата Трифионовна уже сказала все то, что хотела сказать, а Савелий Трифионович еще не готов был к тому, чтобы ей дать ответ. Он открыл новую бутылку и разлил ее по стаканам.

– Савелий, надо что-то делать, – сказала Фелицата Трифионовна, как мне показалось, до странности фальшивым и безразличным голосом, – его же расстреляют или посадят в тюрьму.

Савелий Трифионович взял в руки стакан и сказал мне:

– За знакомство. Давай, не чокаясь. – И осторожно, чтобы не пролить ни капли, стал медленно подносить стакан к губам. Проследив за тем, как он это делает, я взялся за свой.

Коньяк был мягким и ароматным и пился удивительно легко. Допив до дна и, ставя стакан на стол, я вдруг поймал себя на мысли, что я в одно мгновение перескочил в совершенно другой мир, из посюстороннего в потусторонний. Нет, я не опьянел, и все было вокруг такое же, но при этом, как бы ожившее. Все неодушевленные предметы задышали, зашевелились, задвигались, стали шептаться, смеяться, подмигивать мне. Я улыбнулся, хоть было некстати, учитывая серьезность предстоящего разговора и тяжесть произошедшего.

– Вот так-то лучше, – радушно, как будто только того и ждал, что я этот сказочный мир увижу и сумею оценить, сказал Савелий Трифионович. – Давай, давай, лимончиком заешь.

Его слова так же казались необычными, похожими на музыку.

– В детстве безумно любил конфеты, – предельно доверительным тоном заговорил Савелий Трифионович. – В юности женщин, в зрелые годы – коньяк. А теперь... – он выдержал паузу, подмигнул мне и продолжал, – а теперь люблю и первое, и второе, и третье, все сразу, все вместе. В этом и есть преимущество моего возраста. Жаль, что не все доживают до старости. А племянник мой, на своих проводах в армию такой вот тост сказал: «Пью за то, чтобы все вы к моему возвращению со службы перебрались бы в мир иной и очистили, таким образом, мне место под солнцем. Чтобы не было вас на земле и не коптели бы вы небо, на которое я намерен любоваться, демобилизовавшись из рядов доблестной нашей армии». Говорит Леня эти слова и мне эдак многозначительно подмигивает. Дескать, тебя, старик, в первую очередь это касается. Да что я о себе. За столом, когда провожали, вся родня сидела, и ближняя, и дальняя, и все на него не могли наглядеться. А он – такое, открытым текстом.

– Идиот, – тихо сказала Фелицата Трифионовна.

Я решил, что она задним числом ругает сына, но Савелий Трифионович понял, что бранное слово направлено на него и тут же отреагировал:

– Идиоты у арабов.

– Кретин, – продолжала она.

– Кретины в Швейцарии, – защищался Савелий Трифионович.

– Дурак.

– Вот это родное. Но у нас это не ругательство, а, скорее, объяснение в любви. Ведь так?

Вся эта словесная перепалка напоминала мне игру в пинг-понг. Под эти тихие, почти что ласковые слова мне так вдруг захотелось спать и, возможно, извинившись, я ушел бы в другую комнату и прилег на часок-другой, но тут грянул гром. Конечно, гром весной не редкость, но этот гром грянул прямо в комнате, прямо над моим ухом.

– Это он – дурак! Он – кретин! Он – идиот! А теперь еще и военный преступник, убийца! – заорал неистово Савелий Трифонович и следом за этим сказал такие слова, что никакая молодежь со всеми своими «хэ» да «пэ» ему и в подметки не годилась.

Я не помню, как в тот день я от Фелицаты Трифоновны ушел, помню только, что это случилось сразу после «грома». Передо мной извинялись и приглашали в гости чуть ли не в вечер того же самого дня.

Вот таким, не совсем обычным, было мое знакомство с Савелием Трифоновичем.

Глава 3 Савелий Трифонович

С Савелием Трифоновичем мы подружились. Был он страстным болельщиком. Болел за ЦСКА. Мы вместе ходили на хоккей, на баскетбол. Я помогал ему по хозяйству. Мы вместе убирались в квартире, вместе выносили, выбивали ковры. На общественных началах Савелий Трифонович преподавал кадетам в навигацкой детской школе-интернате; рассказывал занимательные истории о флоте. Бывало, перед хоккеем я заеду к нему, сижу на последней парте и слушаю о том, как ловили «Золотую птицу», как воевала на море Англия с Нидерландами, как профессор Бубнов создавал первую русскую подводную лодку «Дельфин».

Савелий Трифонович рассказывал о том, что в 1670 году у голландцев был самый большой торговый флот. Не было равных в мире. Его общее водоизмещение составляло 568 000 тонн. Помнится, когда он это говорил, один из шалопаев выкрикнул:

– Так их, наверное, всех грабили?

– Не думаю, – тут же парировал Савелий Трифонович. – Держались они группами, на борту имели тяжелые артиллерийские орудия, и почти не опасались нападения пиратов. А насчет «грабили», вот, полюбуйтесь. Это капитан Пит Хейн, – он показал картинку. – А знаменит он тем, этот голландец, что поймал испанскую «Золотую птицу». «Золотой птицей» назывался большой отряд кораблей, который ежегодно вывозил награбленные сокровища с Южной Америки, из Перу, Мексики и других испанских владений. В течение нескольких лет поиски Хейна были безуспешны и, наконец, в 1628 году, голландский капитан во главе экспедиции из тридцати одного корабля вошел в кубинские воды и там обнаружил долгожданную добычу. Это произошло 8 сентября. Корабли испанского отряда были так перегружены, что на некоторых из них даже орудийные порты были заставлены сундуками с драгоценными камнями и корзинами с золотыми слитками. Медлительные и беспомощные галионы пытались укрыться в бухте Матанзае, на берегу которой располагался испанский порт, но четыре из перевозивших золото и серебро галионов сели на мель у самого входа в бухту. Когда абордажные партии Хейна вскарабкались на застрявшие корабли с одного борта, они увидели, что испанские экипажи в панике покидают галеоны с другого. Сокровища, захваченные без каких либо жертв, превзошли все ожидания. На кораблях обнаружили невероятное количество серебра – 180 000 фунтов. Золота чистейшего – 134 фунта. Тысячи ящиков жемчуга и других драгоценных камней. Всю добычу оценили в 15 миллионов гульденов! Хейн стал героем Нидерландов. Получил награду 7 000 гульденов и звание главного адмирала всех голландских флотов. Но не долго всем этим наслаждался, через шесть месяцев, 18 июня 1629 года, во время боя с пиратами у Дюнкерка, был сражен пушечным ядром. А теперь скажите, – вопрошал Савелий Трифонович, – на каких кораблях ставились деревянные пушки?

– Да разве ставились, они же не палят?

– Точно, не стреляют. Их ставили для маскировки, на брандерах. Это такие корабли, которые поджигались и сгорали вместе с кораблем противника, команда с брандера спасалась на лодке, переправляясь на фрегаты, обычно сопровождающие брандер.

Возможно, тесное общение с подростками и объясняло его болезненную привязанность к такой пустяшной, на мой взгляд, игре, как морской бой. Играя в нее, Савелий Трифонович доходил иногда до неистовства, страшно было выигрывать, так как, черкая карандашом клетки на тетрадном листе, он вел настоящий бой и, как командующий флотом, не мог проиграть битву.

Ощущая себя, как в настоящем сражении, он терял во время игры в весе, организм его вбрасывал в кровь огромные порции адреналина, глаза блестели. Это был человек, каждую секунду готовый принять смерть, с ним страшно было рядом сидеть. Однажды, против воли

своей, я у него выиграл, так он, словно пулей сраженный, стал корчиться, стонать, и никак не хотел мириться с эдакой несправедливостью. Только отыгравшись, пришел в себя.

Обладая исключительным музыкальным слухом, он играл на баяне и пел так, что позавидовали бы самые известные исполнители. Жизнь из него прямо-таки ключом била, и он щедро делился этой «живой водой» со всеми окружающими. А, казалось бы, такой ад прошел, был неоднократно ранен, горел, тонул и такую правду мне рассказал о войне, что уши мои как закрутились в трубочки, так до сих пор в таком состоянии и пребывают.

Сожительствовал он с тридцатилетней соседкой, имел автомобиль «Волга» ГАЗ-21 в превосходнейшем состоянии, дом в деревне, у самой реки, катер, сад и огород. Всегда светился счастьем. Был весел, бодр, чего и другим желал от всего сердца.

Конечно, и за Леонида он похлопотал, не смотря на те самые проводы и прощальные тосты племянника. Дело закрыли, но оставались какие-то формальности. Мы все надеялись на лучшее, то есть на то, что Леонида демобилизуют в срок, в мае – июне этого года.

Савелий Трифонович сам изготавливал оловянных солдатиков и начал с французов образца 1812 года, чтобы угодить Леониду, так как Наполеон Бонапарт был кумиром племянника. Сделал он фигурку самого Наполеона, всех его маршалов и принял за офицеров и солдат гвардии. Чтобы представить всю армию Наполеона в 1812 году, вторгшуюся на территорию России, необходимо было сделать около двух тысяч солдатиков, от каждого полка по пять – офицера, солдата, барабанщика и еще двоих, не запомнил кого, поэтому на полную коллекцию Савелий Трифонович и не замахивался, ведь в планах был и Кутузов, и Барклай, и офицеры с солдатами нашей армии, того же двенадцатого года.

В лото любили играть, Савелий Трифонович, сожительница его Вера Николаевна и Фелицата Трифоновна. Я играть с ними не успевал, постоянно проигрывал, так как только и слышалось: «Сталинград», «бабка с клюшкой», «лебединое озеро», «в жизни раз бывает», «валенки», «утята», «дедушкин сосед», «пенсионер». А за этими словами, расшифровку которых я не знал, стояли цифры – 43, 81, 20, 18, 66, 22, 89, 60; приходилось наверстывать.

– Студией я занимаюсь, чтобы руки на себя не наложить, – созналась мне как-то Фелицата Трифоновна. – В театре дела плохи, сын не пишет, на личном фронте тоже беда. Елкин пьет, опять его из театра выгнали, скоро выгонят и меня, а ведь в театре вся моя жизнь.

Я вспомнил, какой застал ее в кабинете, при первом знакомстве, это был человек, которому врач сказал, что дни его сочтены. Так она выглядела. Затем занятия ее развлекли, развеяли, но, конечно, не на столько, чтобы забыть обо всех существующих проблемах. Я изо всех сил старался ее поддержать, помочь, рассказывал смешные истории из своей жизни, звал в кино, на прогулки; мы гуляли под ручку по городу.

Актер Елкин был любовником Фелицаты Трифоновны долгие годы, постоянным партнером не только в жизни, но и на сцене. Когда-то Елкин был Гамлетом, а Фелицата Трифоновна Офелией, теперь он играл Клавдия, а она – Гертруду. Я видал Елкина на сцене, он гениально играл. О нем Фелицата Трифоновна могла говорить часами, излюбленной темой о Елкине было то, как все в театре удивляются его умению быстро приходиться в себя, возвращаться из грязи в князи, то спит в канаве, думают, издох, а то, как новенький, ни смерть и ни простуда не берет.

У Фелицаты Трифоновны жил кот Елкина, по кличке Зорро. Он не мяукал, а выругивался, эдакий кот-матерщинник; выругается и снова примет нормальную спокойную позу-копилочку, а ругался часто, все смеялись, когда слышали его брань кошачью. Злой был, облезлый, очень сильный характер имел, в глаза посмотрит, отвернешься, невозможно выдержать его взгляд.

Этого кота я видел где-то за полгода до того, как познакомился с Фелицатой Трифоновной. Встреча была случайная, но запомнилась в подробностях. Четырнадцатого и пятнадцатого апреля в том году погода стояла отвратительная. Дул сильный холодный ветер, с неба падал мокрый снег. Под ногами – грязь, лужи. Шестнадцатого все переменялось, показалось солнце,

лужи высохли, холодный ветер стал теплым и ласковым. В то, что еще вчера с неба падал снег, невозможно было поверить. Наступила, наконец, весна.

Я решил поехать прогуляться. Прогуливался по Тверскому бульвару. Воробьи щебетали, гонялись за самками. Нагулявшись по бульвару я, свернув налево, пошел мимо здания телеграфного агентства и оказался свидетелем интересной истории, главным героем которой и являлся кот Зорро. Он лежал на газоне, у агентства, грелся на солнышке; мимо проходили три подростка с собакой на поводке. Увидев кота, мирно жмурившегося, ребята стали травить на него собаку. Собака стала притворно лаять, потворствуя прихоти хозяина и делать вид, что рвется в бой: «Короткий поводок мешает, мне бы только вырваться, я бы разорвал этого кота на куски». Хозяин намеренно не подпускал собаку близко, так как все же, несмотря на то, что травил, заметно боялся за нее. Быть может, собака была не его, а ему просто дали с ней погулять, выгулять.

У кота оказались стальные нервы. Он не то, что «не дернулся», а даже и глазом не повел, продолжал лежать, как лежал и наслаждался весенним солнцем, ни собаку, лязгающую зубами от него в сантиметре, ни ребят, выкрикивавших угрозы, просто-напросто не замечал. И было в нем столько самоуверенности, столько презрения ко всему, окружающему, что один из ребят, оскорбленный таким поведением кота, не выдержал, взобрался на газон, а газон был достаточно высоким, собственно это была бетонная клумба, засеянная травой, и стал прогонять кота, пиная его ногой. Пинал не сильно. Просто для того, чтобы кот с места своего ушел. Кот лениво покорился. Встал и, не торопясь, пошел прочь. И вот тут-то уходящего кота снова пуганули собакой. Собаку натравили, она залаяла, бросилась на кота лениво, без энтузиазма и вражды, так, чтобы только хозяину угодить. Кот от неожиданности прибавил хода, даже побежал, спрятался за автомобиль, стоявший у входа в агентство.

На этом, казалось, история и закончилась, но не тут-то было. Произошло что-то необыкновенное. Когда ребята отсмеялись, празднуя свою победу, и собака, потявкав, унялась, из-за машины вновь показался кот и показался, не воровато высовывая голову, чтобы понять, можно ли, наконец, занимать свое прежнее место или следует подождать, нет. Кот вышел из-за машины смело и твердой походкой пошел на ребят и собаку. На кошачьей морде было выражение оскорбленного самолюбия, да настолько явное, что не на всяком человеческом лице такое можно прочесть и увидеть. Вот он шел и все видели, всем было ясно, что именно задета его честь, никак не меньше.

Люди, прохожие, все видели, что негодяи травили кота собакой и смотрели на ребят осуждающе и теперь, наблюдая за происходящим, они показывали на кота пальцем и возбужденно кричали: «Смотрите! Смотрите! Что творится! Он сейчас им мстить будет!». Сомнения в этом ни у кого не было, кот, действительно, шел мстить. Ребята, смеявшиеся мгновение назад, в красках пересказывавшие, как гоняли кота ногой, стояли, остолбенев, вид у них был такой, как будто каждый мысленно прощался со своей жизнью, как будто хотелось бежать, а ноги не слушались, не могли сдвинуться с места. Все рты пораскрыли, от страха и неминуемой расплаты.

Кот беспрепятственно подошел к собаке, которая тоже заметно струсила и, встав на задние лапы, с диким криком, похожим на человеческую брань, стал передними лапами бить собаку по морде. Совершенно, как это делает боксер на ринге. И, лишь проведя серию ударов, завалившись после этого на спину и тут же вывернувшись и поднявшись, не убежал, а ушел, медленно и с достоинством, скрывшись все за той же машиной у подъезда агентства. Мне показалось, что он и когти не выпускал, а так, именно, как в драке, по-мужски, дал кулаком по морде обидчику. Над ребятами все откровенно смеялись, а я, так просто порадовался за кота, такое зрелище.

После того, как я рассказал об этом Фелицате Трифионовне, она прослезилась и сказала:

– Надо будет его побаловать, рыбки хорошей ему купить. А то живет, как сирота, все его обижают. При живом-то отце. – Имелся в виду актер Елкин. Мне же она тогда посоветовала. – А тебе надо рассказы писать, у тебя получится.

О сыне, ненаглядном Леониде, могла говорить бесконечно. Сказала, что после ее письма, в котором написала обо мне, Леонид стал чаще отвечать, и, если два письма в неделю не пришлет, то это уже кажется странным. Мне же казалось странным то, что моя скромная персона вдруг возбудила и в Фелицате Трифоновне, и в Леониде такой живой интерес. Я знал по собственному опыту, что ни писать, ни звонить к концу срока службы не хочется, все мысли лишь о демобилизации.

Да, пока Леонид был в армии, я, можно сказать, заменял матери сына. Фелицата Трифоновна кормила меня, как могла, образовывала. Дала книгу «Правила светской жизни и этикета. Хороший тон». Велела прочесть. Даже каялась косвенным образом:

– Ты, наверное, хочешь узнать, зачем в партию я вступила? Верю ли в коммунизм? Понимаешь, вступая в партию, я пленилась не тем реализмом, который был вокруг, да и трудно было бы им плениться. Я пленилась идеальной стороной социализма, его поэзией. С чужого голоса, разумеется. Боже, в какие времена мы жили! И в какие времена теперь живем! Какой уж там коммунизм!

И опять заговаривала о сыне, рассказывала о том, как по евклидовой геометрии он три единицы получил за две параллельные прямые, которые не пересекаются.

– «Надо кретином быть, чтобы доказывать очевидные вещи». Он так и сказал учительнице: «По-моему, это не теорема, а аксиома. Сколько воду в ступе не толки, опара не поднимется». «Слишком умен и слишком испорчен», – говорила учительница. Его брали и во МХАТ, и в Вахтанговское, то есть в Щукинское, а пошел в ГИТИС. Ушел из дома, после случая с девочкой. «Мама разлучила». А я ему не переставала говорить, если хочешь стать актером, то не губи себя смолоду. Вот скоро из армии должен прийти, а у меня все душа не на месте, беспокоюсь, как будто он маленький. Пишет, что читает книги, готовится поступать на режиссера. У него есть режиссерская жилка, он по природе своей режиссер.

И тут словно ее осенило.

– Дима, ты тоже должен поступать на режиссера, поступать вместе с Леонидом. Более подходящего момента у тебя не будет. Ты веришь, что я желаю тебе только добра? Что я мудрее и опытнее? Значит, делай так, как я говорю, со временем все приложится. Ты думаешь, я придумала это только сейчас? Нет! Знаешь, когда я поняла, что ты режиссер? После того, как увидела твои живые картинки.

В театральной студии, на разминке, я часто замещал Фелицату Трифоновну. Как-то так получилось, что все признали меня там за лидера. Я и постарше был и по устремленности сильно выделялся. Все они, как, впрочем, и я поначалу, воспринимали студию, как конечный пункт, предел мечтаний, наконец, как клуб для знакомств. Мало кто из них всерьез собирался связывать свою жизнь с театром. А я, пусть не легко мне это давалось, освоившись, стал расширять круг дерзновения своего, карабкаться на более высокую ступень. Намеревался жизнь свою связать с театром, идти вперед, идти до конца.

И вот, где-то подсмотрев такой прием, когда по хлопку в ладоши или щелчку пальцами, одним словом, по команде, меняются мизансцены, и актеры замирают в определенном положении, под собой имеющем определенный психологический смысл. Я сделал при помощи этой техники три мини спектакля. Придумал сюжеты, поработал с ребятами и совсем не ожидал, что Фелицате Трифоновне это так понравится. Она пришла в неопикуемый восторг, указала кое-где на ошибки, но в целом была довольна. Тогда, значит, и пришла к ней в голову мысль сделать из меня режиссера. Не поверите, но я с ней не согласился. Решил про себя, что она сбрендилась, что на нее напала блажь. Была даже мысль оставить ее и продолжать подготовку к экзаменам самостоятельно, но я не решился на это. И, надо сказать, не соглашался целую

неделю, стоял на своем: хочу в актеры и точка. Впоследствии ни сын ее, ни те, кто Фелицату Трифоновну хорошо знал, не верили в то, что я мог целую неделю бороться с ней, отстаивая свое мнение.

Она таскала меня за волосы, выкручивала уши, стучала в лоб костяшками согнутых пальцев, как только не обзывала и чем только не угрожала. Обещала убить меня, наложить на себя руки, все было зря. Я упрямо стоял на своем: хочу быть актером. Через неделю оборонительных боев, неожиданно для себя я сдался. Сказал, что согласен, что был не прав и сам не видел своего счастья. Ответом мне на это были слова: «Ну, наконец-то ты прозрел!» и очередное постукивание по лбу.

Тут же Фелицата Трифоновна призналась, что, если бы я не смирился и не промолвил: «Готовьте в режиссеры», то она бы меня совершенно спокойно отравила.

– Я бы кинула тебе яд в стакан с чаем, – весело делилась она со мной своим коварным замыслом, – и ни один бы мускул на моем лице не дрогнул. Если человек рожденный стать режиссером, не понимает своего предназначения, то ему лучше и не жить.

Так мы с ней помирились, и стал я готовиться на режиссера. Мы подолгу гуляли с Фелицатой Трифоновной по Москве, она была моим гидом. В голове моей сад «Аквариум» постоянно путался, мешался с садом «Эрмитаж». Фелицата Трифоновна сводила меня и в один, и в другой, рассказала историю этих садов. Сказала, что площадь Маяковского была когда-то Триумфальной, что вместо театра «Сатиры и юмора» был когда-то цирк братьев Никитиных, а вместо кинотеатра «Москва» был кинотеатр «Пегас», первый кинотеатр в России. Что перед рестораном «Пекин» стоял старый трехэтажный дом, в котором выпускникам школы-студии МХАТ разрешили открыть свой театр, и назывался он «Современник». Открылся театр запрещенной пьесой «Вечно живые», а затем гремели «Голый король» Шварца, «Пять вечеров» Володина.

И чего только мне не рассказывала, то вроде развеется, придет в себя, то придешь в студию, опять сидит, осунувшаяся, глаза заплаканные. Что такое? Оказывается, Елкин опять запил и его в сто первый раз выгнали из театра. Худрук Букварев поклялся, что навсегда. А на его место в «Гамлете», на роль Клавдия, ввели Скорого, ухаживает за ней. «Так это все нелепо, – восклицала Фелицата Трифоновна, – Елкин грозился морду Скорому набить, когда протрезвеет. Но когда он протрезвеет?!»

Скорый когда-то учился вместе с Фелицатой Трифоновной на одном курсе и мастер у них был один, Иван Валентинович Букварев. Затем Скорый из Москвы уехал, много ставил по областям. Начинал с переносов гениальных Букваревских постановок на провинциальные сцены. Один спектакль перенес аж пятнадцать раз. Теперь закрепился в Москве, Букварев его не только в театр очередным режиссером, но и педагогом к себе взял. О преемственности, конечно, и речи быть не могло, так как Скорый в театре был без году неделя, но своих симпатий Букварев к Скорому не скрывал.

– Букварев же совсем сдал, – говорила Фелицата Трифоновна, – он же сейчас в театре практически ничего не ставит. Все народники, звездуны, так называемые первачи театра на стороне счастья ищут. Я еще немного погожу, и, глядишь, тоже разбежусь.

На деле же все обстояло иначе. Смертельно больной Букварев взъелся на свою любимую актрису, и, введя на роль Клавдия Скорого, пригласил в театр Нину Поперечную, которая стала вводиться на роль Гертруды и играть с Фелицатой Трифоновной в очередь. Исход был ясен, выживший из ума, съедаемый болезнью старик, за всю свою боль, за все свои страдания отыгрывался на Фелицате Трифоновне, решив отстранить ее от роли. Я тогда всего этого не понимал и воспринимал желание Фелицаты Трифоновны уйти из театра, как естественное и само собой разумеющееся.

У Фелицаты Трифоновны были свои поклонники, свои обожатели, на каждом спектакле с ее участием был аншлаг, а постановки, откровенно говоря, не все были хорошего качества.

Были довольно средненькие, но она делала невозможное возможным, вытаскивая их посредством своего таланта и немислимого обаяния до приемлемого уровня.

– Кто ж тогда ставит? – вопрошал я.

– Валька, Валентина Жох. Она на данный момент фактически театром и руководит. Но, случись сейчас что с Букваревым, ее главрежем все одно не назначат. Даже если она расшибется в лепешку. Лет через десять она, возможно, и станет главрежем ТЮЗА, или Детского театра, но в нашем театре главрежем она не станет никогда.

– А почему не станет? Разве нельзя?

– Если баба влюблена в театр, – начала Фелицата Трифоновна уклончиво, – то она, как правило, влачит тяжелую жизнь. Как правило, она очередной режиссер, без перспектив. Ставит сказки какие-то... Москвички, в свое время, очень усердно работали на выездах. Любили приглашать женщин-режиссеров из Москвы. Поскольку безвредные, уютные, приедут, что-то тихонечко поставят. Как правило, осуществляли перенос на провинциальную сцену уже готовый спектакль.

– Перенос – это плохо?

– Это совершенно другая история, перенос. Никакого поиска, никаких терзаний. «Ты сюда, а ты сюда. Ты стой здесь, а ты стой здесь». Вот и все. Ужасные судьбы у женщин-режиссеров, их не уважают... Да и, как правило, жизнь берет свое. Бабе же нужно рожать, и они, рано или поздно, сразу или помывавшись, устраиваются на какие-то сопутствующие места в театральных структурах. Консультантами в министерстве культуры, инструкторами отделов культуры и так далее. Конечно, бывают и исключения, а почему нет?

В театре дела у Фелицаты Трифоновны стали потихоньку налаживаться. Нина Поперечная, приглашенная Букваревым с тем, чтобы заместить ее, и, поначалу очень понравившаяся худруку, внезапно устроила скандал. Не понравилось ей, что на нее кричат, а Букварев без крика репетировать не мог, к тому же был неизлечимо болен; обложила Тиныча (так в театре звали Букварева) трехэтажным матом и, хлопнув дверью, была такова. Скорый, с которым после долгих лет разлуки, на сцене встретилась Фелицата Трифоновна, предложил ей роль Аркадиной в чеховской «Чайке», которую намеревался ставить, а роль Тригорина – протрезвевшему и вернувшемуся в театр Елкину.

И тогда же, вскоре после этого творческого предложения я впервые увидел Скорого в гостях у Фелицаты Трифоновны. Скорый стоял на балконе, смотрел на вечернюю Москву в закатных лучах солнца и говорил:

– Какой у вас замечательный балкон. За такой балкон не жалко и полжизни отдать. Нет для меня ничего вожаденнее, нежели иметь свой собственный балкон. Нет у меня балкона, и нет никаких надежд и никаких возможностей такое положение вещей исправить. Мучаюсь, страдаю, но ничего не поделаешь, видимо, такая участь.

В тот же вечер, напившись, Скорый кричал на кухне и ругал почему зря Букварева, так как тот, распределяя на режиссерском совещании актеров, кроме Красули и Елкина, не дал ему ни одного приличного, «все сплошь шваль одну». Скорый кричал, что это недальновидно, что, в случае провала Букварев дает ему в руки козыри, и так далее.

– В вашем театре, – кричал Скорый, обращаясь к Фелицате Трифоновне, – как, впрочем, и во всех других, хороших актеров мало, а плохих много, и надо делить всех поровну, только законченный подонок мог забрать себе всех лучших, а нам с Валентиной оставить полное дерьмо. Это не расчетливый ход. Потому, что если я завалю спектакль, и станут разбираться, я скажу: «А поднимите-ка стенограмму заседания. Посмотрите, кого вы мне дали? Дайте мне Ваш состав, и я через месяц, через неделю сделаю блестящий спектакль». И буду я это говорить не у Букварева в кабинете, а буду говорить при обсуждении, когда будет присутствовать начальство.

Затем Скорый при Савелии Трифоновиче принялся ругать пожарных:

– Самая главная беда театра, – это пожарные, – говорил он. – Это люди контртеатральные. Они работают в театре, театр им платит зарплату, но театру они не подчиняются. Они подчиняются театральному управлению. Поэтому их задача – испортить все, что есть в театре святое, ценное и прекрасное. Их, как правило, театр ненавидит. И, как правило, в пожарники идут люди, которые не понимают, что такое театр вообще. «На хрена это нужно, – рассуждают они, – это здание можно было бы приспособить под склад, или сделать в нем физкультурный зал». Как правило, такие. Потому, что нормальный человек – он плохой пожарник. А для того, чтобы быть хорошим пожарником, надо быть сукой. Вот вам наглядный пример, которому я был свидетель. Кончается вечером спектакль, невероятно сложные декорации. Завтра вечером он идет опять, а утром репетиция другого. Завпост бежит к главрежу. Говорит: «Иван Валентинович, дорогой, войдите в положение, ведь этот спектакль и завтра пойдет, его же собирать пять часов. Я знаю, у вас утром репетиция, не могли бы вы порепетировать с учетом декораций. Конечно, Тиныч стал кричать, скандалить: «Как так! Вы срываете мне репетиционный процесс! Пространство сцены должно быть свободно!». «Ах, так! – кричит ему завпост в ответ, – в таком случае, я увольняюсь, пошли вы все на... Сами идите, говорите монтировщикам, чтобы они разбирали, а завтра собирали эту е... конструкцию из-за вашей е... репетиции». В конце концов, завпост уговорил Тиныча, об этом уже и актерам сказали, все уладилось. Завпост пошел к монтировщикам, сказал: «Ребята, все нормально». Все облегченно вздохнули, и тут появился пожарник, и говорит: «Разбирайте на... на сцене, на... на ночь ничего не должно оставаться». Завпост ему: «Худрук приказал». «А е... я вашего худрука...». Понимаете? Эта ничтожная тварь, какой-то бывший старшина на пенсии, который всю свою жизнь только и знал, что дрючить солдат, эдакая непроницаемая рожа с красным носом... Он в этот момент всемогущ, и нет на него никакой управы, потому, что если скажут: «Пошел ты» и дадут по е..., ну, чего он, в общем-то, и заслуживает, он может пойти, позвонить главному пожарному начальству и приедут, опечатают театр, такие случаи бывали...

С сыном Скорого, Арунасом, я познакомился задолго до этой встречи с его отцом, и даже задолго до того, как решил связать свою жизнь с театром. Станным образом я себя тогда вел. Работал на стройке, а шил рубашки с косым воротом в ателье. Кстати, они обходились дешевле купленных в магазине, обычных. И сидели они на мне превосходно. А решился я на индивидуальный пошив из-за того, что строение тела у меня особенное, я худой и высокий, а советская промышленность подобной продукции не выпускала. По той же причине я и брюки себе шил в ателье. С обувью были проблемы.

И вот, в сшитой косоворотке, цвета спелой вишни, в черных брючках, в тужельках стоял я на ступеньках театра «Современник» и ждал неизвестно чего. Вокруг меня сновали желающие попасть в театр, все спрашивали лишнего билетика, но все было зря. И тут вдруг появился Арунос, он ждал, как узнал я впоследствии, актрису своего театра Спиридонову. Ту самую, что могла бы преподавать мне в студии мастерство актера, но не случилось. Она не пришла, и тогда он отдал свою контрамарку мне. Да, но прежде чем отдать, он должен был ее получить. Мы прошли с ним к служебному входу, он вызвал по местному телефону известного актера, занятого в этом спектакле, передал ему от отца, какую-то редкую книгу и извинения за то, что тот не смог прийти. Затем мы пошли к администратору и на имя этого известного актера получили контрамарку. Пока ходили то туда, то сюда, разговорились. Арунос первый заговорил, поинтересовался:

- Студент театрального?
- Нет, – сознался я и представился. – Меня зовут Дмитрий.
- Да погодите вы, – устало сказал он, – может быть, еще никакой контрамарки не будет.
- От этого мое имя другим не станет, – сказал я.

Арунос усмехнулся и с интересом посмотрел на меня, но сам так и не представился, то есть дал понять, что на продолжение знакомства я могу не рассчитывать. Я, собственно,

и не рассчитывал, благодарен был ему уже и за то, что он дал мне возможность посмотреть спектакль. Весь зал был забит битком, я сидел на ступенях балкона и при этом был счастлив.

До этой встречи я Аруноса видел во многих советских фильмах, он играл подростков, был не на много старше меня, и я ему завидовал, его счастливой судьбе. Служил он, равно как и сестра его, Августа, в одном театре с Фелицатой Трифоновной, играл исключительно «кушать подано». Выносил на сцене самовар гостям, в лучшем случае исполнял роль шестого матроса, у которого была только одна реплика: «Уходим», и в эдаком творческом пространстве он существовал. Мне, глядя на него, становилось жутко. Как, думаю, он еще не запил, не озлобился, руки на себя не наложил.

Заметив, что я прихожу в театр с Фелицатой Трифоновной, и, узнав меня, Арунос как-то поплакался мне в жилетку. Выпили, разговорились, он сказал:

– Было режиссерское совещание, режиссеры распределяли актеров, и меня не взял ни один. Что мне делать? Как быть?

Я вспомнил, как кричал его отец в гостях у Фелицаты Трифоновны, что Букварев подсунил ему одно дерьмо. Получалось, что родной его сын даже в эту категорию актеров не входил? Был хуже? Хотя казалось бы, куда уж хуже. Я молча выслушал все жалобы Аруноса и в тот же день поинтересовался у Фелицаты Трифоновны, почему так бывает, что не дают актеру роль. Она объяснила:

– В любом театре есть актер, которого при распределении не берет ни один режиссер. Как правило, это такой актер, который еще не состоялся. Он может быть внутри очень хорошим актером, но в него просто никто не верит. Поскольку нагрузка в театре такая большая, что любого мало-мальски талантливого человека обязательно задействуют, и даже работа находится для самых бездарных. Все одно есть какие-нибудь маленькие роли. Понимаешь, если он вообще никому не нужен, то он и в театре не нужен. Как правило, те, что не нужны никому, это молодые актеры, которые недавно выпустились из училища и первую или вторую роль свою лажанули по неопытности. И их не хотят. А в них зреет. Был такой момент, когда известный тебе актер, Олег Янковский, теперь уж поди, его не знай, сыграл в фильме «Щит и меч» и вместе с Любшиным стал любимцем всего Советского Союза. Фильм вышел, получил Государственную премию, Янковский стал лауреатом премии комсомола, если не ошибаюсь. Это был по тем временам грандиозный фильм о войне, чуть ли не первый многосерийный на эту тему. И при всем при этом, в Саратовском театре, где он служил актером, собрался худсовет, и главреж сказал членам худсовета: «Товарищи, вот у нас есть такой актер Янковский, он выступил в фильме. Мы видели его, он там как бы неплохо сыграл. Он лауреат премии. Фильм выдвинут на премию Ленинского комсомола, на что-то большое. Мы не можем пройти мимо этого факта. Мы должны перевести его со ставки 60 рублей на ставку 62 рубля 50 копеек». И худсовет завалил это предложение главрежа, сказав: «Но он же бездарный». Потому, что он до этого фильма и после фильма в театре заваливал все роли. Он очень тяжело в театре начинал. Честно говоря, он и до сих пор в театре, так себе играет. Ну, сейчас у него уже мастерство, опыт, какие-то другие вещи, но... Вот была такая история. С одной стороны, не скажешь, что не актер. Актер. Актерище! Хороший. А вот было. Я к чему это говорю? Человек внутри может быть очень хорошим, большим актером, а вот общественное мнение в театре сложилось... Одну роль завалил, вторую, и его никто не берет. И тогда этот актер может очень хотеть... Внутри он может быть гением. У Смоктуновского была похожая ситуация, ну и у массы, наверное, людей. Это я говорю о тех, которые пробились, а сколько не пробились? Сколько погибло других таких Янковских, Смоктуновских, рутинной задавленных. Так что такой человек может быть в театре.

– Значит, его выживают? – не выдержал я.

– Есть три варианта, – спокойно отвечала Фелицата Трифоновна. – Первый, его выживают. После того, как он слажал, его посадили играть роль зайчиков и на выездах играть пятый

пень в лесу, а на большую сцену, к примеру, не выпускают. Второй вариант. Человек он очень талантливый и очень хорошо играл, но пару раз сорвал спектакли, пил. Это совершенно страшная страница в истории всех театров столичных, а провинциальных особенно. В нашем театре, ты знаешь, есть такой актер по фамилии Елкин. Его на моей памяти одиннадцать раз выгоняли из театра и одиннадцать раз брали обратно. Брали за талант, выгоняли за пьянку. Он завязывал, давал честное слово, держался, не пил. Его брали в театр, он репетировал, играл главные роли, играл замечательно. А потом на месяц, просто в лет. Валялся в канаве, был весь в синяках, оборванный. Хуже бродяги выглядел. Опять выгоняли из театра, по приказу: «Нарушение трудовой дисциплины». Через месяц приходит трезвый, плачет, просится. Букварев смотрит на него, разводит руками, а у самого план горит, ему позарез нужен этот актер. Он знает, что Елкин богом может быть на сцене. Берет. Вот такая может быть ситуация. Есть третий вариант. Талантливый человек, но настолько неуживчивый характер, что просто спасу нет. Это в театре очень часто случается. Настолько как бы демагог, пустомеля... Есть люди, которые репетируют и углубляются в себя, а есть такие, которые репетируют, хорошо репетируют, но при этом создают вокруг себя ауру конфликта. Такой актер возбуждается творчески оттого, что сажает режиссера в лужу.

Я даже вздрогнул от услышанного и подумал: «Неужели ж она говорит про себя?». Дело в том, что когда я присутствовал на последней репетиции, то Фелицата Трифоновна именно таким вот образом всячески «сажала в лужу» Букварева. Я еще подумал: «Был бы я на его месте, взял бы тебя за ноги, да головой об стену». А он все сносил. Я был настолько бестактен, что все это рассказал Фелицате Трифоновне. Она не обиделась, даже, как мне показалось, повеселела и ответила так:

– Причем ты, Дмитрий, учти, что Букварев по природе своей тиран. Он один из самых кровавых режиссеров в истории советского театра. Он как бы самый неумный, самый, самый. Но даже он понимает, что такое актриса Красуля и как бы в такие моменты прощает ей очень многое. А ведь он чудовищно самолюбив. Легенды ходят о том, что, поймав на себе косой взгляд, он мог вычеркнуть человека из своей жизни. Вот даже как. Режиссура – страшное дело. Он, конечно, сука, пидор, палач и говно, но он талантлив, это безусловно. Он очень неординарная личность. Он садист, он напалмом выжег всю московскую режиссуру, чтобы иметь вокруг себя мертвое пространство, чтобы он царил один, но при этом многие о нем отзываются очень светло. Именно он может прощать такие вещи, которые простить невозможно. Стульями в него кидались актеры, били после репетиции. Елкин очки ему разбил, чуть без глаз не оставил. А он понимает, что такое Елкин, вот ему он прощает все. Нужно иметь сверхмужество, находясь на такой вершине, на которой он находится, чтобы прощать и спускать на тормозах все, что тот вытворял. Нужно обладать какой-то высшей мудростью. Ведь он же, кроме того, что мощный режиссер, он же еще и чиновник, обласканный партией и правительством. И при всем при этом, он понимает, что такое Красуля, что такое Елкин. Ты знаешь, ведь приход Елкина в театр ознаменовался просто какой-то чередой скандалов, начиная с милиции, и заканчивая самыми высшими чинами КГБ. Елкин был заводной, он не разбирался, кто перед ним стоит, сразу бил в хлебало, он лишал чести и девственности иностранок прямо на Тверском бульваре, в сугробе. Сейчас, правда, немного уgomонился, только пьянки беспробудные остались, а был – оrel.

– Фелицата Трифоновна, объясните, зачем Буквареву понадобилось приглашать в театр Скорого, если вы говорите, что он на дух никого не переносит, боится, что подсидят?

– Есть такая штука, как план постановок и три штатных единицы режиссерских. Главный и два очередных режиссера. Сложилась ситуация, что штат не заполнен, да и спектакли ставить надо. За это Минкультуры, да и идеологический сектор горкома КПСС дрючит. Если положено ставить шесть спектаклей в год, а всего два режиссера в театре, Букварев да Валя Жох, то в этом случае они просто вынуждены кого-то приглашать, даже заведомо плохого. Даже с таким условием, что спектакль будет снят потом. Просто заложены в смете деньги на шесть

спектаклей, хочешь или нет, а их надо истратить. А у главрежа норма, в год он должен поставить один или два спектакля. Очередной обязан поставить два спектакля. Это в штатной книге, в КЗОТе отражено, не имеет права ставить меньше. И складывается такая ситуация, при которой Валя Жох, очень хорошо разбирающаяся в бухгалтерии, после того, как поставила третий спектакль в год, получила очень большие деньги, так как это внештатная работа, что-то вроде сверхурочных. И что получается? Три постановки Валиных, Букварев без сил, кое-как свой плановый спектакль свалил с трудом и выдохся, – четыре. А нужно шесть, то есть нужно еще два. А ставить некому. Вале давать? Она усиливается. Если режиссер талантливый, то с каждой постановкой его позиции усиливаются, а у главрежа позиции ослабевают. Это очень тонкая штукавина. Главному всегда выгодно иметь слабых очередных, слабую поросль. Вот и появился у нас в театре Скорый. Ты знаешь, считанные единицы были в стране, которые не боялись растить подрастающую смену, то есть брать в театр режиссера, который потом тебя заглоти. В Москве Попов не боялся брать сильных режиссеров. Кнебель Мария Иосифовна, она руководила Центральным детским театром. Она очень многое сделала для того, чтобы Эфроса вытащить из провинции. Как правило, главреж давит очередных и самое приятное для него, когда очередной обосрамится. Деньги потрачены, что нормально с точки зрения бухгалтерии. Можно отчитаться и как бы сказать: «Ну, вот, неудача. Зачислили в штат замечательного известного человека, но вот коллектив не одобрил Семена Семеныча, не смог Скорый с коллективом ужиться. Не смог стать лидером в маленьком коллективе, делающем спектакль. Ну, что тут поделаешь, с такими людьми мы будем безжалостно расставаться».

Глава 4 Возвращение Леонида

С интересом и с затаенным трепетом ждал я возвращения Леонида со службы. Пока же мог судить о нем только по фотографии метр на полтора, той самой, да по рассказам его мамы.

И вот Леонид вернулся. Случилось это в начале мая. Признаюсь, не без тайного трепета поднимался я по ступеням знакомой лестницы. «Какой он? – сверлили меня мысли. – Неужели, как на фотографии, такой же мрачный, всем и всему чужой?».

Дверь мне открыл веселый и жизнерадостный молодой человек и так, словно целую вечность мы с ним были знакомы, запросто, по-домашнему, обнял меня и сказал: «Заходи». Не дав мне даже разуться. – пришлось это делать потом, – он проводил меня в большую комнату и усадил за стол рядом с Керей Халугановым. За столом уже сидело человек тридцать гостей. Фелицата Трифонова была в незнакомом мне малиновом платье. У нее были ярко накрашенные губы и неприлично блестящие глаза. Взгляд был беспокойный и перебегал с одного лица на другое. Меня она в этот день упорно не замечала.

Рядом с ней за столом сидел Савелий Трифонович в своем адмиральском кителе с золотой звездой Героя Советского Союза на груди. Рядом с ним, на том дальнем, противоположном от меня, крыле стола, сидело еще трое военных, один из них так же был морской офицер, в чине капитана первого ранга. Два других были генерал-полковниками Советской Армии, бронетанковых войск.

Из людей, мне известных, была соседка Вера Николаевна, гражданская жена Савелия Трифоновича. Худрук замечательно устроенного театра, Букварев Иван Валентинович, Кобяк, самый старый актер театра, стоявший у истоков создания театра и немало поспособствовавший тому, чтобы театр был и существовал. Семен Скорый, режиссер театра и педагог ГИТИСа, на курсе Букварева. Актер Елкин, пьяница и дебошир. В данный момент находящийся в завязке и потягивающий с отвращением минеральную воду. Сидел молодой актер Ягодин, игравший в театре роль Гамлета, присутствовал всеильный директор театра Герман Гамулка. Других гостей я просто не знал.

Скажу пару восторженных слов про стол, такие столы накрывают, наверное, только в России. На жаренных молочных поросятах, как на конях, верхом, прижавшись друг к другу, сидели жареные куры. Над осетром горячего копчения, в широких и глубоких вазах, предназначенных для фруктов, высились горы черной икры, не севрюжкой, не осетровой, а белужьей, как узнал я потом, то есть самой лучшей, но в таком количестве, будто была самая худшая. Если такое понятие вообще приемлемо к такому продукту, как черная икра. Шампанское, вина, водки, коньяки, от одних названий язык в узел завязывался, то есть целый парад.

Как только сел я за стол, так сразу же чьи-то заботливые руки положили в мою тарелку салат с горошком, говяжий язык и лососину. Налили в рюмку водки, и дополнительно дали бутерброд с черной икрой. Причем кусок хлеба был тоньше обычного втрое, а слой икры толще обычного вчетверо.

Керей Халуганов меня о чем-то спрашивал, я невпопад ему отвечал. Я все еще не мог прийти в себя, все еще находился под впечатлением от встречи с Леонидом. Поразило меня то, что он совершенно был не похож на убийцу. Я следил за ним, стараясь что-то эдакое все же уловить. Казалось, присмотрюсь чуть пристальней и поймаю тот самый тяжелый взгляд, ставший таковым под гнетом содеянного преступления, прислушаюсь и услышу низкий, хриплый грудной басок. Но ничего похожего не наблюдалось. Душа компании. Легкий, жизнерадостный молодой человек с ясным взором лучащихся глаз с чистыми, баритональными нотками в голосе, и ничегошеньки от убийцы.

Леонид, в то самое время, когда я присматривался и прислушивался к нему, стоял с рюмкой водки в руке и говорил тост. Начал с того, что поблагодарил всех присутствующих за то, что они пришли. Памятуя свою позорную выходку на проводах и понимая, что такой чести совсем не заслуживает, сразу после этого стал благодарить мать за то, что она есть, говорил, что только в казарме, да в училище понял настоящую цену дома и материнской любви. Фелицата Трифонова плакала, но никто не обращал на это внимание, гости, как замороженные, раскрыв рты, смотрели на Леонида и слушали его речь. Слушали, стараясь уловить в ней что-то, касающееся лично их, что-то необходимое для дальнейшей жизни. И, надо отдать должное Леониду, он не забыл никого из присутствующих. Даже меня, «человека, заменившего матери сына», о чем я и не подозревал. «Она мне писала о Дмитриии объемные письма, и в них рассказывала, с каким упорством он трудится над собой, с какой жадностью глотает книги, как совершенствуется на глазах, и мне это придавало силы; заставлял себя тоже читать, готовиться, и, теперь, надеюсь, мы вместе будем держать экзамен, и Бог даст, станем учиться на одном курсе».

Букварев одобритительно кивал головой, он любил Леонида всем сердцем.

Как я уже сказал, Леонид упомянул всех в общем тосте, после чего стал обходить стол и говорить каждому что-то приятное в отдельности. С дядей он даже персонально расцеловался. Этому предшествовали покаянные слова, прижатие правой руки к левой груди и попытка встать на колени. Чего Савелий Трифонович, конечно, сделать ему не позволил. Дошла очередь и до нас с Халугановым. Подойдя к своему другу и взлохматив ему шевелюру, Леонид у Кери спросил:

– Ну, как ты тут? Как живешь? Сыграл что-нибудь стоящее? Поговорил на сцене с Богом?

Керя пристально посмотрел ему в глаза, затем перевел взгляд на губы, задавшие такие серьезные вопросы. Он, похоже, старался понять, разобраться, шутит, дурачится Леонид или говорит серьезно. И, как-то очень трогательно, тоном, не подходящим к застолью, грустно ответил:

– Плохо живу. Ничего мне не удалось.

Леонид не стал говорить фраз, утешать пустыми словами, похлопал слегка рукой по спине, шепнул «Потом поговорим» и подошел ко мне.

– Ну, здравствуй, покоритель Москвы и Московской области. Мне матушка в письмах столько о тебе рассказывала, что я, признаться, и не знаю, с какой стороны к тебе подходить. А дядька, тот так прямо и сказал, что если бы не Митя, то не стал бы хлопотать. – Так впервые, между делом, он обмолвился о своем преступлении. – Не знаю, что уж там ты предпринял, что сказал в мою защиту, но запомни, теперь я должник твой, по гроб жизни.

Сказав эти трогательные слова, он крепко пожал мне руку и вернулся на свое место.

Как только хорошенько выпили и закусили, так сразу же Савелий Трифонович снял с себя свой адмиральский китель, взял в руки баян, и все сидящие за столом запели:

– *В парке Чаир распускаются розы,*

В парке Чаир расцветает миндаль...

Все с удовольствием пели одну песню за другой. Нет ничего прекраснее хорового пения под гармонь, да когда еще стол с угощениями рядом.

Из молодых актеров, как я уже сказал, был не только Халуганов, но еще и Ягодин, но он нас что-то сторонился, а к генералам, узнав, что они танкисты, «присуседелся», стал спорить с ними о том, кто победил на Курской дуге.

– Манштейн, к примеру, уверяет, – говорил Ягодин, – что они победили, и их потери были незначительны.

– А почему тогда его группа армий начала удирать? – охотно вступили с ним в спор приятели Савелия Трифоновича. – Вы, молодой человек, если так любите немецких генералов, так почитайте Гудериана, главнокомандующего танковыми войсками Германии. В своих

«Воспоминаниях солдата» он прямо свидетельствует о том, что потери немцев под Курском были огромны, и что поражение под Курском предопределило поражение во всей войне.

– Пусть так, но оправдывает ли это такие огромные потери танкистов и танков под Прохоровкой? Единственным настоящим военачальником, сумевшим как следует противостоять врагу на Курской дуге, я считаю генерала Ротмистрова.

Генералы, не сговариваясь, рассмеялись, переглянулись и рассмеялись повторно.

– А что смешного я сказал?

– Да так, ничего. Просто всем известно, как Сталин его похвалил за это.

– Как похвалил?

– Сказал: «Что ж ты, мудака, танковую армию за пятнадцать минут спалил?». После чего он был отстранен от командования переставшей существовать армии, и больше Верховный его командующим никогда не назначал.

– Но как же так? Ведь он же Герой Советского Союза, маршал. Главнокомандующий бронетанковых войск, профессор. Возглавлял академию БТВ? Ему бы не дали Героя и маршала, если бы он, как вы говорите, оказался мудаком под Курской дугой.

– Геройство свое он получил к юбилею, на 20-летие Победы, в 1965 году, а маршала не на поле брани, не за боевые заслуги, а за профессорско-преподавательскую работу в Академии Бронетанковых Войск.

Крыть Ягодину было нечем, и тут он заговорил словами Гоголя из поэмы «Мертвые души»:

– «Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Иной даже человек в чинах, с благородною наружностью, со звездой на груди, будет вам жать руку, разговорится с вами о предметах глубоких, вызывающих на размышления, а потом, смотришь, тут же, пред вашими глазами и нагадит вам».

Леонид схватил Ягодина за шкирку, выволок из-за стола и проводил до дверей. Я не выдержал, подошел и поинтересовался у генерал-полковника бронетанковых войск, представившимся мне Константином Андреевичем, за что все же Сталин Ротмистрова «мудаком» назвал, и как тот умудрился за пятнадцать минут спалить целую танковую армию.

– У немцев появились тяжелые танки, Т-6, «тигры», – отвечал Константин Андреевич, – с мощной пушкой, калибра 88-мм и толстенной броней. И тактика в наступлении была такая: «тигры» шли впереди, прикрывая танки Т-3, Т-4. Задача «тигров» была не борьба с пехотой, с пулеметом, а уничтожение наших противотанковых пушек и гаубиц, а самая соблазнительная цель – наши танки, так как они «тигра» пробить не могли, а он своей пушкой жег их, как спичечные коробки. А Ротмистров сделал то, о чем немцы и мечтать не могли, навстречу немецкому танковому клину бросил наши танковые бригады, то есть устроил тир, всех и постреляли.

– А что нужно было сделать?

– Пропустить танки на минные поля и артиллерийские позиции. А пятой гвардейской армии генерала Ротмистрова расступиться и не бить лбом о стену, а атаковать по флангам и тылу. Атаковать там, где находились Т-3, Т-4. Видимо, за это Сталин его отругал.

Рассказав мне о днях минувших много интересного, Константин Андреевич вместе со мной вернулся в день нынешний, мы вместе запели, поддержали Савелия Трифоновича, исполнявшего песню о том, как танки грохотали.

Скажу крамольную мысль, пришедшую в тот момент мне на ум: «Вот он, прообраз Рая, – решил я, – сидеть бы вечно за таким столом, выпивать, закусывать, петь песни и радоваться всей душой, вместе с такими же, как ты, чистосердечными, веселыми людьми». Прекраснодушие и радость переполняли настолько, что то и дело песни прерывались веселым смехом. Смеялись то на одном конце стола, то на другом. Смеялись вместе, особенно не интересуясь причинами, этот смех вызвавшими.

Оставив старшее поколение за столом, вечером того же дня, я, Леонид и Керя поехали в общежитие Замечательно Устроенного Театра. Там, в одной из комнат, накрыли стол, и в эту комнату набились все обитатели общежития. Леонида хорошо знали, и не столько как сына Красули, сколько как актера их театра, так как он с двенадцати лет практически жил на сцене, играл большие и малые роли. Стол, конечно, был поскромнее того, что мы оставили, но на это никто внимания не обращал. По дороге мы купили двенадцать бутылок водки, каждый нес в руках по четыре.

Запомнилась самая первая минута, как Леонида встретили. Все искренне были рады, с каждым и с каждой он обнимался и целовался. Это у театральных людей так заведено, я к этому уже успел привыкнуть, но вот в комнату вошла девица Спиридонова. Та самая, которую Фелицата Трифионовна выгнала из студии в первый день нашего знакомства за нерадивость, та самая, которую когда-то напрасно ждал у входа в театр «Современник» Арунос. Была она на себя совсем не похожа, совсем не злая, причесанная, приятно возбужденная. Все сразу как-то притихли. Леонид посмотрел ей в глаза и улыбнулся. А обнялись они так, что у обоих захрустели ребра, их губы, слившиеся в этот момент в сочном, сладком, длительном поцелуе, казалось, не разлепятся уже никогда.

Но губы разлепились, из объятий они друг друга все же не выпустили. Стояли, смотрели друг другу в глаза и улыбались. Присутствующие, до этого хранившие гробовое молчание, ожили, стали напоминать, что «молодые» в комнате не одни. Кто-то, добродушно смеясь, благодарил за доставленные минуты радости, кто-то шутейно бранился и звал всех за стол. И мы, не успев прийти в себя после одного застолья, оказались за другим.

Леонид делился новостями, а я больше слушал, да перемигивался с одной девушкой. Где-то ближе к двум часам ночи Леонид вместе со Спиридоновой незаметно исчез, а ко мне, заботливо беспокоясь, подошел один актер, предлагал свою койку для ночлега.

– А где же ты ляжешь? – интересовался я.

– О-о, а обо мне не беспокойся, я могу всю ночь не спать. Буду бродить по Москве, любоваться памятником Пушкину.

«Какие удивительные люди, – подумал я, – постель мне свою предлагает». Я все же не решился воспользоваться его благородством, нельзя было допустить, чтобы этот добрый человек остался без койки. У той девушки, которая подмигивала мне, я поинтересовался, где мне можно голову преклонить, и узнал, что прямо в этой же комнате. Мы еще с ней потанцевали, а далее мне предоставили постель, я лег и заснул.

А утром, зайдя в умывальник, очень похожий на армейский, я увидел ту самую девушку, с которой перемигивался и танцевал. Она мне дала свою зубную щетку и пасту. Я ее за это, прямо в умывальнике и поцеловал. Признаюсь, находился все еще под влиянием вчерашнего хмеля. Она очень громко и заразительно смеялась, засмеялся и я. Совершенно не обращая внимания на то, что за спиной у меня кричат. Два мужика-актера просто ором орал. Один говорил с пеной у рта другому:

– Пусти! Пусти, убью... Приехали, сволочи. Тот старика у всех на глазах унижает, а эта худая скотина танцует мою невесту.

– Ну, перестань, – успокаивал его другой, – угомонись.

Мне было настолько хорошо, настолько весело, что я никак не мог понять, что говоря о худой скотине, взбесившийся актер имеет ввиду именно меня. Это был тот самый, что хотел гулять и разглядывать ночью памятник Пушкину. Он же ночью, каждый час забегал и проверял, не домогаюсь ли я его возлюбленной. Это я уже потом вспоминал. Ни его крик, ни его злобное намерение побить меня, ничего ко мне не прилипало, не цепляло. Я был так счастлив в этом общежитии, так всем очарован, так всех полюбил и его в том числе, что, возможно, только благодаря этой незримой защите я и остался цел.

Со своим уставом забрались мы в чужой монастырь. Спиридонова, как оказалось, была законной женой народного артиста СССР Кобяка. А за те два года, что Леонид отсутствовал, имела еще и незаконных мужей, присутствовавших на встрече. Я так же, сам того не желая, влез в чужую жизнь. Нахрапом, без приглашения. До сих пор удивляюсь, как нас там не побили.

Утром, по приглашению Кери, мы поехали в Парк культуры. Там, за кружкой пива, Леонид в предельно доверительной форме рассказал о том, как это случилось, то есть о том, как убил человека, и о том, почему так непозволительно дерзко вел себя на проводах в армию.

По его словам, убийство не было убийством, а было обыкновенной самообороной. Сказал, что жалеет мать покойного и сделает все возможное и от него зависящее, чтобы как-то искупить свою вину перед ней.

– У убитого, скажу в качестве каламбура, – продолжал Леонид, – фамилия была Труп. Сам понимаешь, люди с такой фамилией долго не живут. Ты не жалеяй его, я должен был его убить. У меня просто выбора не было. Не я его, так он бы меня приглубил. Ну, я и решил, что лучше пусть будет так, как оно теперь есть. Хотя, обманываю, говоря, что думал, не было на это времени. Все как-то спонтанно, как-то само собой получилось. Я старшиной был, сам не дедовал, и другим в роте беспредельничать не позволял. За это меня не очень жаловали. Было несколько стычек со своими, с выбитыми зубами, со сломанными носами. Пострадавшие все это помнили, злобились, ну и подослали ко мне этого чудака. Представляешь, он уже надо мной топор занес, считанные секунды оставались, я его снизу штык-ножом и пырнул. Просто опередил. Я не хотел его убивать. Ну кто же знал, что паховую вену пропорю. Хорошо еще, дневальный с штык-ножом под рукой оказался. Все это в столовой случилось, наряд по кухне борзел, работать не хотели, и молодым работать запретили. Ты сам служил, знаешь, как это делается. Бунтовали. А я помощником дежурного по части. Дежурный офицер к бабе свалил, они про это узнали, и давай в отказ. Да если бы я только одного пырнул, мне бы никто и слова не сказал. Я же в агонии, весь наряд искалечил. Вот из-за чего сыр-бор начался, трибунал замаячил. Что хотели, то и получили. Так что не жалеяй трупака. Мать его, конечно, жалко, растила, мучалась, сколько дней и ночей не спала..., а самого – нет. Не я, так другой, не в армии, так на гражданке бы убили. Это я не в свое оправдание, мне все одно, – оправдания нет. Но все же, все же.

На дядьку Леонид кричал из-за того, что была реальная возможность в армию не ходить.

– Я дядьку тогда ненавидел, – говорил Леонид, – и на проводах грубил из малодушия. Представь себе мое положение. Я заканчиваю институт, в театре репетирую Гамлета. Не стражника, не лакея, а самого принца датского. Букварев, рискуя, вводит меня, сопляка, на главную роль. Ну, о чем еще можно мечтать? Даже если провал, какво дерзновение. Дали бронь от армии, все было схвачено, справка с отсрочкой была приготовлена. Что еще нужно для счастья? Но у меня же дядька – адмирал, Герой Советского Союза. Он, как узнал, ничего, ни слова не сказал, посмотрел на меня, улыбнулся с подтекстом, дескать, знал, что кишка тонка, сынок маменькин. И во мне все перевернулось. Я все свое счастье побоку, взял и пошел служить. Легко сходить в военкомат, напроситься на службу, а как потом на проводах сидеть? Тут и Букварев, и мать, и Кобяк, законный муж своей молодой жены, моей любовницы, сидит, рукой ее под скатертью пощипывает. А я должен оставить все это и идти в неизвестность, и там два года жизни своей молодой, похоронить. Вот и бесновался, орал благим матом, кидался на всех, как бешеный пес, и ведь не объяснишь это все никому, не поймут. Хорошо, что вчера хватило сил прощения у всех попросить. Это твое присутствие мне силы дало, точно, точно, не лгу. Роль Гамлета педриле Ягодину отдали, а мне – сапоги, грязную тряпку в руки и все прелести первого года службы.

Как услышал я, что Леонид Ягодина назвал педрилой, так сразу вспомнил вчерашний день, актера Ягодина еще до спора с генералами. Старенький, больной Букварев повидался

с Леонидом и очень быстро после этого ушел. А этот самый Ягодин, после ухода Букварева за его спиной стал обсуждать худрука.

– Тиныч, – говорил Ягодин, – гений, но старомоден и во многих вещах промахивает, не догоняет. Я бы объяснение с Офелией сделал иначе; как можно не понимать, что гомосексуальные связи сейчас данность нынешней современности.

Разговор этот никто не поддержал, а я еще подумал: «Как смело говорят молодые актеры, даже о гомосексуализме рассуждают». Я не знал всех тайн театра и его подводных течений.

Леонид, будучи с 12 лет на сцене, успел до армии не только порепетировать, но и сыграть Гамлета. Он был на сцене, как говорят, поразительно органичен. Фелицата Трифоновна играла его мать, Гертруду, им не надо было искать дополнительных приспособлений, они невидимыми нитями были связаны на сцене. Клавдия играл Елкин, сожитель матери и в жизни и на сцене, которого Леонид ненавидел всей своей душой. Тут тоже никаких особенных приспособлений, «костылей» не требовалось. Их житейская ситуация поразительно ложилась на сюжет пьесы. Зритель был в восторге.

Когда Леонид, будучи уже солдатом, узнал, что вместо него на роль Гамлета ввели Ягодина, он чуть было с караула не сорвался с заряженным автоматом, хотел застрелить последнего, но вовремя одумался. И вчера, когда Ягодин обнял за столом Леонида и сказал, сияя от радости:

– Вот и Ленька пришел! Будем жить! Будем мечтать! Будем Гамлета по очереди играть!

Леонид вывернулся из объятий и не воспринял, не разделил радость Ягодина:

– Не надо меня обнимать, – наставительно сказал Леонид.

И я это понял так, что Леонид не может простить ему того, что он отнял у него роль, а теперь выяснилось, что все было сложнее.

В парке, после того, как попили пива, в кустах сирени, прямо под «чертовым колесом», раздавили на троих бутылку «Московской». Захмелев, посетили комнату смеха, чуть не подрались со шпаной, стрелявшей в проходящего мимо негра из игрушечного пистолета пистонами, познакомились с двумя малолетками, приглашавшими нас, за наш счет, разумеется, в кафе «Времена года».

Леонид поинтересовался, почему одна из них в шляпе, другая за нее объяснила:

– Подруга просто голову не помыла, вот шляпу и надела.

– Ах, так, – театрально возмутился Леонид, – простите, девушки, но нам нужны такие, которые моются.

Из Парка культуры возвращались на речном трамвайчике. Уже причаливая к пристани, у Киевского вокзала, Леонид заметил кого-то на берегу и тихо сказал:

– Уже здесь. Спасу от нее нет.

Я сначала не понял, о ком это он говорит, кого имеет в виду, но тотчас догадался, увидев, как из толпы, стоящей за перегородкой и готовой к посадке, майор армейский, оглядываясь на Леонида, уводит за руку молодую женщину. Женщина была ладно сложена и даже со спины было заметно, что замечательно хороша собой.

– Бландина? – с непонятным для меня подтекстом спросил Керя.

– Она, – неохотно отозвался Леонид, – Но я уже не тот, меня ей, ведьме, больше не видать. И чарами своими не взять, не погубить.

Глава 5 Бландина

Я видел Бландину только со спины, но всем своим существом понял, ощутил, что влюбился в нее, что, конечно, не могло ускользнуть от искушенного в таких делах Леонида. Я не стал интересоваться, кто это такая, вообще не задавал про Бландину никаких вопросов. Но Леониду их и не нужно было задавать. И очень скоро я узнал о ней если и не все, то очень-очень многое.

Перейдя по Бородинскому мосту на другой берег Москвы-реки, Леонид услали Халуганова в Смоленский гастроном, а мне предложил искупаться. Что мы и сделали, туда-сюда поплавав в достаточно еще прохладной пресной воде.

Расхаживая по каменным ступеням, спускавшимся прямо к реке, энергично размахивая руками, чтобы согреться, Леонид заговорил:

– Это за год, а может, за два до службы. Нет, все же за год, на четвертом курсе. Решил сходить я к известным драматургам, попросить у них новую современную пьесу. Наивен был до неприличия. Узнал адреса и явки, направился, так сказать, на правах полномочного представителя всей гениальной молодежи. В результате, пьесу, я, конечно, не получил, но завел хорошие знакомства. Это долгая история, по-своему замечательная... А с Бландиной нос к носу, мы в первый раз встретились на дне рождения ее матери, на который я явился с одним из тех драматургов, к которым ходил кланить пьесу. Бландина была там с мужем, которого я поначалу не заметил, а потом уже и времени не осталось на то, чтобы замечать. Как только ее увидел, так сразу же стал строить нечистоплотные планы, соображать, как бы с ней скорее познакомиться. Но, клянусь, как на духу говорю, что того, что случилось вскоре, не хотел, и, само собой, предвидеть этого не мог. Все смеялись, шутили, о чем-то беседовали, предвкушая щедрое застолье. Играла ненавязчивая музыка; помню, стоявший рядом драматург уверял кого-то, что у него под Одессой дом и чернозем в саду. Собеседник попытался уличить его во лжи, доказывал, что в тех местах сплошные солончаки, а чернозем лишь в Курской, да Орловской областях.

Мы с Бландиной несколько раз встретились взглядами, оказались рядом, и вдруг... Теперь точно не вспомню, не то локтями соприкоснулись, не то сам ее за руку взял и к себе притянул. В общем, ощущение было такое, будто разом пол ушел из-под ног. Я уже не контролировал себя, как, впрочем, и она. Бешеная страсть, неумная бросила нас друг к другу. Все это походило на встречу мужа с женой после долгой разлуки, само собой, наедине. Пикантность ситуации и состояла в том, что мы супругами не являлись, и проделывали все на глазах почтеннейшей публики. Причем, вцепились друг в друга так, как вцепляются пауки в банке. Срывали с себя одежду, стонали и визжали от нетерпения. Представляешь себе такое зрелище? Хорошо еще, что интеллигентные все были люди, сумели подняться над ситуацией, сумели уйти в другую комнату и утащить с собой несчастного мужа. Ведь это же ничто иное, как сумасшествие; любой врач поставит диагноз: шизофрения. Поначалу пытались разнять, но очень скоро убедились в тщетности подобной затеи. Не долго все это у нас длилось, очень скоро закончилось.

По логике вещей, после всего случившегося я должен был бы увести ее с собой, просить у мужа развода, а у нее руку и сердце, но я этого не сделал. Сумасшествие прошло, пыл угас. Я взял, да и ушел один. Ушел, бросив ее на произвол судьбы. Впрочем, она охотно осталась. Что там у них после всего этого было, какой разговор, какие объяснения, я не знаю. Знаю только одно, что муж ее простил. Прошла неделя, другая, чувствую, что жить без нее не могу, позвонил драматургу, с которым в гости ходил и которому так напакостил, и сразу же, без «здравствуй», «извини», стал спрашивать у него домашний телефон Бландины. Он в крик: «Как? Да ты опять за свое? У нее же муж – офицер, он просто возьмет, да и подстрелит тебя. Он, кстати, при всех обещал это сделать. Что же ты сам на рожон лезешь? Ведь ему же за убийство ничегошеньки не будет. Потому, что кругом прав. Скажет «на почве ревности». Отговаривал

он меня, отговаривал, все впустую. Тогда что же он придумал? Сказал, что телефона у нее просто нет, так как живет в новом доме. Хороший он мужик, пытался спасти меня от безумства. Но только так получилось, что телефон мне ее не понадобился. В тот же день я ее встретил с мужем на улице, бывает же такое. Заметил и пошел за ними следом. Ох, если вспоминать, что это было и как это было, то без улыбки и слез не расскажешь.

Однажды я наблюдал, как хозяин выгуливал свою собаку, сучку. А у собаки этой была течка, и за ней увязался маленький бродячий кобелек. Хозяин и кричал на него и бил бедолагу. Тот не отступал, упорно следовал за сучкой. Терпел побои с мужеством, достойным другого применения, но не отбегал. Сучка поглядывала на своего кавалера благодарными, влюбленными глазами. Точно такая же картина наблюдалась и у нас. Я выступал в роли бродячего кобелька, Бландина в роли сучки, у которой течка, а ее муж в роли хозяина. Как только он увидел меня, точно так же принялся кричать, отгонять; когда это не помогло, пустил в ход кулаки. Я не сопротивлялся, не закрывался, я удары просто не чувствовал. Совершенно не чувствовал боли, тело было железное, все налилось свинцовой тяжестью. Видел только ее влюбленные похотливые глаза, больше ни на что не реагировал. И что же? Кричал он на меня во все горло, бил, но до подъезда, где они жили, все же довел. Проследил я затем, как вошли они в лифт, как уехали, а затем сел на скамейку у подъезда и всю ночь на этой скамейке просидел. Помнится, даже и не заметил, как ночь прошла. А утром, только они вышли, я подбежал и схватил ее за руку. Я за одну руку держу, он за другую. Тянем ее, я на себя, он на себя, чего добиться хотим, сами не понимаем. Как только не разорвали пополам. Тягали до тех пор, пока она не закричала. Тут он перепугался и руку ее отпустил. Кинулся ко мне, схватил за грудки, стал трясти и говорить, что она мне не нужна, что я ее брошу. Ну, в общем, все правильно стал говорить, одна беда была, я его не слушал. Тогда он обратился непосредственно к самой Бландине, спросил у нее, с кем она хочет жить. Нет, не так. Спросил: «С ним пойдешь?». Она кивнула. И тогда он ударил ее ладошкой по щеке, а сам, вдруг, заплакав, как маленький, и закрыв лицо руками, зашагал прочь, не глядя, куда идет.

После того, как Бландина выбрала меня, я сделал было попытку за нее заступиться, хотя, честно говоря, не хотелось, хотелось совершенно другого, но как увидел эти мужские безутешные слезы и что он прямиком через проезжую часть пошел, прямо под колеса (машины сигналили, он не обращал внимания), так и последнее желание мстить сразу же пропало. Да и смотрю, у Бландины на лице, от его оплеухи, только румянец розовее сделался, – оплеуха ей на пользу пошла. Что же было потом? Было во что. Три дня и три ночи мы безвылазно провалялись в постели. Ни в магазин, ни на улицу не выходили. Все, что в доме было, съели. На третий день засохший хлеб уже размачивали. Есть уже было нечего. Ну, а на четвертый день я сказал ей, чтобы шла к мужу. Она стала умолять, чтобы я ее не прогонял. Я психанул, избил ее сильно. После чего просил прощения, целовал синяки, говорил: «Живи, сколько хочешь». Сходил в магазин, купил продуктов, снова трое суток провалялись в постели. Снова все повторилось. Ели остатки засохшего хлеба, запивая его пустым кипятком. Избегали встречаться взглядами.

Тут уж она сама, не дожидаясь побоев, молча оделась и пошла к мужу. Я ее останавливать не стал.

– Неужели же до того вечера, ты ее так-таки ни разу и не видел? – поинтересовался я.

– Почему не видел? Видел. Помню, встретил ее у «Метрополя» с мужем, он был в белом костюме, а она в розовом платице. Мы с Халугановым мимо шли, так друзья ее мужа остановили нас, попросили поздравить молодоженов. Бландина совсем невзрачная была, запомнились только глаза и необыкновенное имя. Затем была нечаянная встреча на Большом каменном мосту. Мимолетная, секундная встреча. Прошли мимо, оглянулись, посмотрели друг на друга и пошли дальше, каждый своей дорогой. Затем встретились в метро. Я шел с огромной сумкой, набитой продуктами, а она тогда была в черном парике. Черный цвет ей не идет, она

этот парик никогда впоследствии не надевала, но тогда была в нем. Идет она, я за ней следом, и что же? Милиционер на станции, вместо того, чтобы смотреть на нее, во все глаза смотрел на меня. Тут надо пояснить. Они, то есть менты, почему-то меня за проверяющего принимали и все всегда, как перед проверяющим трепетали. Она этого не знала, ей казалось странным, что на нее не смотрят, а смотрят на кого-то еще. Оглянулась посмотреть, а это опять я! Снова глаза наши встретились, можно сказать, взглядами поцеловались. Мы молча прошли через турникет и, как прежде на мосту, разошлись в разные стороны, упорные в своем притворстве. Она-то давно уже была не прочь познакомиться, да меня гордость заела, думаю, на мосту не остановилась, убежала, а я этого не прощаю. Ну, в общем, как бы мстил. А может, осторожничал, не знаю. И последняя встреча перед схваткой паучьей была в переходе на Пушкинской. Иду я по переходу, смотрю, кто-то, отвернувшись к кафельной стенке, делает вид, что в сумочке роется, голову при этом туда наклонив. Хотел было подойти, спросить: «Это кто от меня прячется?». Да не о том голова тогда думала, мимо прошел. А она тогда в белом плаще была, в черных брюках, в черных блестящих туфельках. Пройти-то я мимо прошел, а как вышел из перехода, остановился и стал смотреть на другую сторону улицы, ждать. И дождался. Вышла эта птица из перехода и пошла через поперечную улице Горького дорогу. В сторону памятника Пушкину. Если, думаю, тебе нужно было туда, то зачем же ты из перехода вышла здесь? Под землей бы спокойно и дошла себе. А затем ты, думаю, вышла и идешь, рискуя, через проезжую часть, чтобы лишний раз мне показаться, да заодно посмотреть, узнал ли я тебя или нет. Ну, то есть, что это она в сумочке рылась, якобы от меня прячась. Стою, наблюдаю, оглянется или нет. Прав я или это все плод моей больной фантазии. Идет спокойно, независимо, как бы даже задумавшись о чем-то о своем, и вдруг, откинув волосы назад и слегка повернув голову, взглянула. Посмотрела точно мне в глаза. Какое-то мгновение, миг, доля секунды, но и она и я все поняли. Она продолжала идти, как шла, спокойно и независимо, но при этом теперь уже точно зная, что я ее помню, что я о ней думаю, что я ее узник. И я тогда уже точно знал, что она меня хочет, что я хочу ее, и что ни одна женщина в мире мне не даст того, что я могу получить от нее. И время пришло – получил.

– А что же теперь?

– Что теперь? Теперь она снова живет с мужем и снова смотрит на меня глазами сучки, у которой течка. Только зря она так смотрит. Я уже не тот кобелек, который вскочит, когда она захочет. Пусть ищет себе бобиков в другой стороне.

Вскоре после этого разговора пришел Керя. Принес шоколадных конфет «Ласточка» и три бутылки вина.

– Оригинальный напиток, изготовлен из суррогатов спиртсырья и пищевых отходов, – сказал Леонид, якобы читая все это на этикетке. Он сказал это с той обреченностью в голосе, с которой должно быть осужденные на смертную казнь, говорят свое последнее слово.

Я взял одну из бутылок, взглянул на нее и ничего из услышанного от Леонида там не обнаружил. Но я-то читал по этикетке, а он определял по виду содержимого в бутылке и был, конечно, прав. Такой заразы я еще не пил, быть может, еще и потому, что это была новинка. Что называется, по мозгам дала она нам хорошенько и как-то неблагородно дала. Подкравшись незаметно, оглушила дубиной суковатой и все. Опьянение было нехорошее, тяжелое, порождавшее злобу. Ненавистна стала и река, и купание, и казавшийся приятным до употребления вина вечер. Путаясь в своих ногах, будто их не две, а двадцать две, я плелся за Керей и Леонидом, которые тоже, в свою очередь спотыкались на ровном месте. Шли к Леониду, чтобы упасть и проспать.

Заметив, что магазин «Мелодия», мимо которого мы проходили, работает, зашли туда. Поднявшись с помощью перил на второй этаж, подошли к отделу «Классическая музыка». Леонид попросил молоденькую продавщицу поставить на проигрыватель пластинку Шопена. Я сначала не заметил в этом никакого подвоха, решил, что душа, истосковавшаяся в казарме

по прекрасному, требует для себя музыкальной пищи. Но, как только девушка выполнила его просьбу, и в магазине зазвучал такой знакомый по кладбищам похоронный марш, я понял, что Леонид дурачится, и прекрасная музыка ему вовсе не нужна. Поняла это и девушка-продавщица, поспешно приподняв палец и иглу проигрывателя, скороговоркой спросившая:

– Будете брать или другие вещи послушаете?

Возмущившись ее самоуправством, Леонид велел опустить игральную иглу на прежнее место. Девушка покраснела, повела рукой и бессмертная музыка, наводящая смертный ужас на всех присутствующих воспоминаниями о потерях, снова зазвучала в магазине. Мы слушали ее до тех пор, пока я не сказал, что меня тошнит. Я солгал, мне просто было жалко продавщицу, но, как только я вышел из «Мелодии», меня и в самом деле стало мутить, и вывернуло наизнанку. Не знаю, насколько это показалось заразительным, но моему примеру тут же последовал и Леонид. Керя к нашему дуэту не присоединился. Он улыбался, глядя на нас. Улыбался так, как улыбается только младенец, сидящий в люльке, видя перед собой своих уставших, измученных родителей.

Когда пришли к Леониду, он включил видеомагнитофон и поставил фильм с Чаплиным. Принес водку, коньяк, и наша культурная программа продолжилась. К тому времени я уже поднаторел в пьянках и научился не смешивать напитки. Халуганов же не соблюдал этих правил, и словно намеренно чередовал, пил то одно, то другое. Скоро стал очень болтлив, стал рассказывать о своей последней пассии.

– Она журналистка, у нее тысяча идей. Она хочет, нарядившись попом, нырнуть в озеро и отпустить грехи рыбам. Хочет родить двух малышей-близнецов и отдать их на прокормление волчице, чтобы волчица воспитала из них Ромула и Рема. Сама же согласна в это время своим молоком кормить ее волчат. Она разыскала старого чекиста, того, что осуществлял расстрелы на Лубянке и готова с ним сожительствовать, чтобы заполучить последнюю фотографию Мейерхольда. Вы же знаете, что после расстрела его сфотографировали для отчетности. А расстреливали с контрольным выстрелом. Она мечтает опубликовать в своей газете эту фотографию Мейерхольда с четырьмя дырками в голове. Два входных, два выходных отверстия. И даже название уже придумала для статьи, и для этого фото: «Художнику от власти, на вечную память».

– Хитрая девица, – перебил Халуганова Леонид, – знает, какие тебе истории рассказывать.

Он вынул из видеомагнитофона кассету с Чаплиным, а вместо нее поставил немецкий порнофильм. Это было первое мое знакомство с видеомагнитофоном, первое знакомство с подобного рода продукцией. Не скрою, первые пятнадцать, а может, и все тридцать минут я смотрел на все происходящее с нескрываемым интересом. Но потом интерес как-то сам по себе угас, и я стал позевывать. К тому времени позевывал и Леонид. Что же касается Керя, то он уже спал, положив свою голову на вытертый бок плюшевого медведя, приспособив его вместо подушки. Легли спать и мы. И всю ночь в ушах у меня звенели часто повторяемые в порнофильме слова: «Я, я, данке».

Утром я проснулся от львиного рыка. Это Халуганов блевал в окно. Окно выходило на оживленную улицу и, видимо, он попал кому-то на голову или на костюм, так как закончив свое грязное дело, сразу же, скоренько, по-воровски, спрятался.

– Хулиганье! – доносилось с улицы. – Я на вас найду управу, вы у меня запрыгаете, как зайцы на раскаленной сковородке.

В этом крике слышалась и обида, и возмущение, и беспомощность.

Видимо, эта брань вызвала новую волну, подкатившую к горлу. Керя снова с поспешностью высунулся в окно и схулиганил. Но на этот раз криков не последовало. Пострадавший, видимо, поспешил ретироваться, а другие прохожие обходили опасную зону стороной.

Утром, пока мы с Керей еще спали, Леонид успел сходить в магазин за пивом и нажарить картошку с мясом. Фелицата Трифоновна с адмиралом уехали в загородный дом, они звали и нас, но Леонид выпросил несколько дней отдыха в Москве, так что готовить нам она не могла, но и у Леонида получилось неплохо. За столом, когда пили пиво, Халуганов все морщился и охал.

– Что ты маешься, оригинал? Пиво тебе не нравится? – поинтересовался Леонид. – Оригинального напитка надо было купить?

– Да зуб болит, – признался Керя.

– Чего же не лечишь?

Халуганов посмотрел на Леонида строго, хотел, наверное, выругаться, но вместо этого, сдержавшись, стал объяснять:

– Ты когда в последний раз был в поликлинике? Знаешь, какие там очереди, какие инструменты? Как там зубы лечат, рассказать?

– Расскажи, – спокойно предложил Леонид, доставая из холодильника скумбрию холодного копчения.

– И расскажу, – пригрозил Керя. – Пришел я с дыркой в зубе к врачу, к самому лучшему, по словам лечившихся. Стала она мне эту дырку в зубе рассверливать. Сверло в зубе застревает, она злится на меня, ругается. А потом, смотрю, застревать сверло перестало, пошел дым изо рта. А она рада стараться. Сверлит зуб, не замечает. А потом мне же и говорит: «Ой, я тебе, кажется, зуб сожгла, что-то он почернел». Ну, думаю, спасибо, дать бы в морду побольней, да еще пломбу ставить должна, в руках я у нее, не забалуешь. А пломбу как ставила? Говорит медсестре: «Намешай такую-то», а медсестра отвечает: «Я уже другую намешала». «Да? Ну, давай ее сюда, чтобы добру не пропадать». Взяла и поставила. Только я вышел из кабинета, пломба вывалилась. Я вернулся. Что ж, говорю, делаете? «Да ты, наверное, языком ковырнул, она еще засохнуть не успела. Завтра, завтра приходи. Я тебя без очереди приму». Наговаривать не стану, тех, у кого пломба вывалилась, а нас таких было трое, она, действительно, приняла без записи и без очереди. Я первый вошел, но перед лечением еще одна история случилась. Пришла эта баба-врач, зубной техник, пришла злая, стала кричать. Ей, оказывается, зарплату не выдали. Кричала: «Пока деньги не дадите, не буду зубы лечить». А очередь, человек тридцать, взмолились, упали в ножки, смилостивилась старуха, стала осуществлять прием. Злая, свирепая, хуже войны. Пригласила меня в кабинет. Я сел в кресло, а оно так установлено, что не в окно сидишь, смотришь, а на стену. На ту стену, где у них вешалка. Сижу, жду медицинского вмешательства, смотрю, как она пальто с себя снимает, как шапку с шарфом прячет в рукав. Сняла сапоги, смотрю, под юбку лезет. Так и есть, трусы с себя сняла и в сумку их спрятала.

– Да ты не заливаешь? – засмеялся Леонид.

– Нет, ты неправильно понял. На дворе была ранняя весна, март месяц. Она по поговорке «Марток – надевай двое порток». Она с себя вторые, фланелевые сняла, что были поверх колготок. Сняла, чтобы в них не париться. То, что я за этим наблюдаю, ей на это было наплевать. Они пациентов за людей не считают, не стесняются их, с ними не церемонятся. Как при рабах мыли свои грязные задницы жены патрициев, так и эти. Я к чему про трусы-то? Все же врач, в белом халате ходит, могла бы, стерва, руки помыть. Не стала. То ли лень, то ли усталость, то ли склероз, а, может быть, вызов общественному мнению. В общем, полезла своими грязными руками ко мне в рот. Я молчу, что ей скажешь? Прогонит. Знай себе, сиди и терпи. А сколько издевалась, в тот день, когда зуб сожгла! Сама сверлит и спрашивает: «Чего ты, Халуганов, не красивый? Чего желтый такой? Не похож ты на актера, и на мужика не похож. Вот до тебя был актер Максимов, так это мужчина. Щеки красные, грудь нараспашку, вот каких я люблю». Ей, стерве, семьдесят, выглядит на все семьсот, а все туда же, о мужчинах мечтает. Моя бы

воля, я бы ей не то, что зарплату, я бы в яму ее посадил, и держал до тех пор, пока червяки не съедят.

– Ну, так в чем дело? Опять пломба вылетела? – поинтересовался Леонид.

– Да в том-то вся и беда, что нет. А зуб под пломбой болит, и вся десна распухла от зуба. Я всю неделю к десне столетник прикладывал, чтобы боли утихли. Все в мозг отдавало, да и сейчас дергает.

– Некрасивый, говоришь? – раздумывал Леонид. – Так что же нам делать?

– В платную надо, – взмолился Керя. – Я знаю хорошую. Там укол сделают и лечат без боли.

– Поехали? – поинтересовался Леонид у меня. Я кивнул головой, согласился.

Керя повез нас на край Москвы, от станции метро вел извилистыми тропами, вел очень долго. Уверял, что иначе никак не добратся. Оказалось, что прямо у платной этой поликлиники стоит остановка и почти все автобусы (одним из которых мы на обратном пути и воспользовались) везут от станции метро. Ну, да ладно.

Что же поликлиника? Как выяснилось, совсем недавно она была бесплатная, районная. Теперь же бесплатно обслуживались только пенсионеры, инвалиды, всем остальным приходилось платить. Платить пришлось сразу, еще до того, как Халуганов попал к врачу. За карточку, которую на него завели и за предстоящий осмотр. Пока он был у врача, мы его ждали у кабинета и беседовали. Почему-то вспомнился мне порнофильм, и я у Леонида спросил:

– А чего бы тебе не жениться на ней, если говоришь, что ни одна не даст того, что даст она?

– Ты это о ком? О Бландине? Надо будет тебе рассказать о ней еще кое-что. Слишком сусальный образок получился.

Из кабинета в этот момент выскочил Керя.

– На снимок послали, – пояснил он. – Вот как у людей все это делается, а то трусы сняла и в рот полезла. Только бы сверлили не больно.

– Больно не будет, я за укол заплачу, – успокоил его Леонид. – За все заплачу, пусть пломбу самую хорошую поставят. Пусть не торопятся. Мы ждем, не переживай.

Проводив взглядом убежавшего в рентгенкабинет Керю, Леонид принялся рассказывать мне о Бландине то самое «кое-что».

– Понимаешь, – начал он, – Бландина – это вавилонская блудница, которая превосходит всех падших женщин в разврате и похоти. Скольких состоятельных мужей она разорила, пустила по миру, скольким карьеру сломала – испортила. Сколько талантливой молодежи, с чистыми помыслами, готовых на великие подвиги, сбила с пути истинного. Все у них прахом пошло. Пожирала свои жертвы со страстью, губила с наслаждением. И с колдовством она знакома, заклинаний много знает. Хотя, казалось бы, и женских чар одних достаточно, чтобы любого смертного в сети свои заманить. Заманить и погубить.

– Тебя же не погубила?

– Наверное, потому что я не любой, – отшутился он. – Да и потом, кто знает. Может быть, после знакомства с ней, я безнадежно потерял для здоровой, нравственной, семейной жизни. В конце концов, для любви. Бландине нормальные, человеческие взаимоотношения скучны. Ей нужны сильные ощущения, высокие или низкие, все одно. Как, собственно, и актерам и режиссерам. Но мы все это реализуем на сцене, а она этими страстями живет. Все просила «поиграй со мной», ну я и играл.

– Во что? – не понял я.

– Есть игры такие. Любовники придумывают для себя маски, чтобы не смущаться ничем. Я, к примеру, был фараоном, а она моей рабыней, наложницей. Интересно проводили время. Муж ее, конечно, ничего похожего дать ей не мог.

Из рентгенкабинета вышел Керя, проследовал к лечащему врачу, но долго у него не задержался.

– Чего так скоро? Залечили? – поинтересовался Леонид, после того, как Халуганов закрыл за собой дверь.

– Нет, только старую пломбу сняли, да корень насквозь просверлили. У меня там, в десне, вокруг зуба гной скопился. Она этот гной выпустила, теперь надо неделю подождать. Сказала, чтобы я полоскал зуб водой с содой, а когда есть стану, чтобы дырку в зубе ваткой закрывал. Таблеток велела купить целую гору.

Он протянул Леониду бумагу. Москалев стал читать:

– Таривид, по одной таблетке в день, после еды.

– Это антибиотик, – пояснил Керя.

– Кларитин. По одной таблетке на ночь.

– Это чтобы аллергии не было на лекарство.

– Нистатин. По одной, три раза в день.

– Чтобы микрофлора в кишечнике не нарушалась. Когда пьешь антибиотик, микрофлора нарушается.

– Глюконат кальция. По одной таблетке три раза в день.

– Это для укрепления зубов.

– Поливитамины.

– Это она сказала, для того, чтобы иммунитет в организме поддержать. Антибиотики его угнетают, а поливитамины поддерживают.

– Ну, поливитамины можно заменить тебе фруктами. К Сабурову поедем на рынок, чего-нибудь вкусненькое тебе купим. Ну, пойдем в аптеку, здесь уже больше ничего не высидим.

В аптеке Керя, довольный тем, что Леонид, несмотря на дороговизну, купил ему таривид (от которого, узнав цену, сам решил отказаться), рассказал щекотливые подробности посещения врача.

– Там у них кресла, как в театре, с подлокотниками. Я на подлокотники руки положил и сижу себе, ничего не подозревая, а она мой снимок глянула на просвет и давай мне корень сверлить. Но как? Навалилась самым низом живота на мою руку, лежащую на подлокотнике и засопела. Сверлит и аж повизгивает.

– Что, и эта, увидев тебя, тусы скинула?

– Клянусь. Я даже чувствовал, как пульс у нее там бьется. Сверлит и улыбается от наслаждения. Сами видите, какие дорогие лекарства выписала.

– Да, это показатель, – успокоил Керю Леонид. – Давай, не снижай накал чужих страстей, не обманывай возложенных на тебя надежд.

Из аптеки мы направились на рынок, к Сабурову. Долго мотались, теряясь в толпе, пока набрали на того, кто нам был нужен. Леонид первый заметил улыбчивого молодого человека, торговавшего специями. Заметил и через головы толкавшихся у прилавка покупателей, один из которых требовал себе хмели-сунели, крикнул:

– Эй, хмели-сунели, давай-ка, положи мне набор для плова.

– Один момент, товарищ капитан, – закричал в ответ Ренат Сабуров и зачем-то солгав покупателям, что Леонид – это их участковый в штатском, прекратил торговлю и пробрался к нам.

– Салам, – сказал он мне, пожимая мою правую руку двумя своими. Я было подумал, что он принял меня за своего единоверца, но он точно так же поздоровался и с Леонидом и с Керей. Это был жизнерадостный человек, улыбка не сходила с его лица ни на мгновение. Ренат оставил вместо себя своего младшего брата Шамиля и пригласил нас к себе в гости. Он жил в двух шагах от рынка. Халуганов от приглашения отказался:

– Вы там жрать будете, водку лопать, а у меня вместо зуба дыра, мне надо лечиться, медикаменты употреблять. Купите мне фруктов побольше да помягче, я и пойду своей дорогой. Через неделю звякну.

Кере купили фруктов и он отправился домой, мы же направились в гости к Ренату. Ренат жил в коммунальной квартире, был женат. На момент нашего прихода ни жены, ни соседей в квартире не было. Ренат готовил сам, когда подавал плов, все извинялся:

– Наверное, еще не готов.

– Давай, накладывай, – говорил Леонид, смеясь. – Станем мы еще в ЧК разбираться.

Плов был замечательный, было заметно, что Ренат знает толк в поварском деле. Кроме плова на столе была всякая всячина, вкусная и разнообразная. Ну, и конечно, водка. Впервые услышал я анекдот, в котором узбек играл главную роль и оставлял в дураках грузина и армянина. Анекдот такой: поспорили узбек, грузин и армянин, чей герой в Великой Отечественной войне самый великий и знаменитый. Грузин говорит: «Герой Гастелло известен всей стране, но не все знают, что настоящая его фамилия – Гастеллидзе». Армянин говорит: «Все знают, что Александр Матросов героически закрыл своей грудью амбразуру дзота и спас своих боевых товарищей, но не все знают, что на самом деле он Алик Матросян». А узбек сидел, слушал и говорит: «Видели, в Волгограде стоит памятник до небес? А кому он поставлен, помните? Мамаеву Курбану».

От Рената поехали к Леониду. В тот вечер он устроил мне настоящую обзорную лекцию о джазе и джазменах. Ставил на проигрыватель диски и называл имена: Дизи Гиллеспи, Чед Бейкер, Чарльз Паркер, Луи Армстронг. Говорил о них очень много. Я, к своему стыду, ничего не запомнил. Помню, что кто-то из них не имел кошелька и прятал мелочь у себя во рту. Кто-то в гостинице славного города Амстердама покончил счеты с жизнью, выбросившись из окна.

Джаз при всей своей прелести не мог меня отвлечь от мыслей о Бландине. Я все никак не мог понять, что в ней плохого, почему Леонид от нее отвернулся. Я не выдержал и спросил об этом. Леонид остановил музыку, внимательно посмотрел на меня и сказал:

– Это долгий разговор. Давай поиграем в солдатиков, а заодно и о ней побеседуем.

Играли в гостиной комнате, на большом лакированном, овальном столе.

Солдатики были те самые, что делал Савелий Трифионович, все сплошь французские, образца 1812 года. Они ставились на край стола, и левой рукой катался бильярдный шар. У каждого в запасе было по два точно таких же состава. В качестве наказания, за потерю каждой из трех армий, назначался стакан водки. Предчувствуя, что волей-неволей придется опять напиваться, я хотел отказаться от игры, но, понимая, что это чуть ли не главное условие, при котором Леонид будет откровенен со мной, говоря о Бландине, я на игру согласился.

Стол, как я уже сказал, был огромный, лакированный. Шарик катали по очереди. До этого съели подаренную Ренатом дыню, причем мякоть из нее всю вырезали длинным ножом, оболочку оставив практически нетронутой. И Леонид вырезал рожицу из этой оболочки. Глаза, нос, улыбающийся рот с зубами, а внутрь дыни поставил толстую горящую свечу. И при таком вот светильнике, отключив электрический свет, мы вели битву, пили в наказание за потерянные армии водку стаканами, закусывая ее арбузной мякотью, и я слушал Леонида, который мне рассказывал жизнь Бландины. Рассказывал искренне, желая уберечь и отвратить от нее.

– Хочешь знать, с чего она началась? Как в первый раз у нее все это произошло? Я вижу тот мартовский день так ясно, в таких подробностях, что почти физически ощущаю себя там, с ней рядом. А все потому, что она рассказывала и пересказывала события того дня, наверное, тысячу раз. Излагала случившееся в самых бесстыдных и отвратительных подробностях. Я многое опущу, оставлю самое главное, то, что позволит тебе понять, почему я от нее шарахаюсь и почему тебе необходимо ее остерегаться.

Был замечательный мартовский день, сугробы растаяли, кое-где еще лежал снег, в виде черного непонятного вещества, но никто уже не сомневался в том, что наступила настоящая

весна. Накануне шел дождь, ручьи журчали и неслись бурными потоками. Дул сильный южный ветер, подгоняя зиму, толкая ее в спину, то бишь, на лицо все атрибуты ранней весны и, конечно, главная прелесть оттепели, – повсеместные, огромные лужи, и в каждой из них свое солнце. Весна, повторюсь, была очень ранняя, число третье или шестое.

Бландина училась в школе, было ей четырнадцать лет. Нравились ей хулиганы, они были интереснее, заметнее остальных, впрочем, всех хулиганов в сторону оставим одного. Назовем его Сережей. Она училась в седьмом, а он у нас будет учиться в восьмом, в восьмом «А». Вот с этим Сережей она и гуляла в тот ветреный мартовский день. Зашли они, гуляя, под мост. Мост был автодорожный, две дороги проходили, одна по мосту, другая под мостом. Та, что под мостом, вся была сокрыта огромной лужей. Просто не лужа, а целое озеро. И в это «озеро» с моста то и дело падали частые и крупные капли. Отчего по поверхности, не прекращаясь, расходились круги. Солнце, отражаясь в этой водной глади, рисовало на стене и на опорах моста очень живые картины. Оказавшиеся под мостом Сережа и Бландина залюбовались этой красотой. В этот момент по луже пронесся самосвал, и их накрыло холодной волной. Скорее всего, они в этот момент целовались, иначе отчего бы им не убежать от приближающегося грузовика. Бландина, к слову, про поцелуй ничего не говорила. Очень характерная деталь.

Делать нечего, грязные и мокрые, зашли они в подъезд близлежащего дома. Там она сняла с себя джинсы, попробовала их отжать и почистить. А заодно попробовала и хулигана подразнить. Он, действительно, пленился ее круглыми коленками, стал их гладить; сопротивления не встретил, но она с ним просчиталась. Хулиган оказался не из тех, кто ей нужен. Сообразив, что не готов он к тому, к чему его понуждали, хулиган Сережа стал чудить. Нашел банку с остатками краски и исписал только что отремонтированную стену в подъезде разнокалиберной матерщиной, нарисовал что-то похабное, гипертрофированные запчасти человеческого тела. В его защиту скажем, что первым порывом к художественному творчеству было желание написать: «Сергей плюс Бландина равняется... знак вопроса». Но, взявшись за дело, он смутился и кинулся выписывать и вырисовывать то, что привык выписывать и вырисовывать на стенах, находясь в компании своих друзей. Неважно, неважно поступил Сергей, но не я ему судья.

А что же Бландина? Ее эти каракули и вовсе не заинтересовали, она пожаловалась ему, что замерзает и собирается идти домой. И тут хулиган в первый раз проявил инициативу. Предложил пойти на стройку, там развести костер и согреться. Согреться и просушиться. Она охотно согласилась.

Под «стройкой» Сережа имел в виду не пустую площадку со сваленными кое-как железобетонными плитами, а огромный, практически уже построенный дом, в котором только что и оставалось, как провести отделочные работы, да отдать под заселение. Но отделочные работы по неизвестным причинам не проводились, время шло, конструкции дома потихоньку сгнивали, ржавели, приходили в негодность, а само помещение служило убежищем для всякого рода шпаны, да для людей, не имеющих постоянного места жительства. Хулиган Сережа, не раз там жег костры, было у него свое, специально оборудованное место с рваным диваном, хромым столиком и перекосившейся тумбочкой, не имевшей дверцы. Одним словом, имел Сережа царские, для своего возраста и социального статуса апартаменты. Туда он ее и повел. Наверное, надеялся, согревшись у костра, все же показать себя с лучшей стороны, а, может, я наговариваю на него, может, чист был, внутренне собран, воспитан, и просто хотел с ней подольше побыть. Может быть, любил ее беззаветно.

Там, на «стройке», на обустроенном Сережей месте, они нашли уже горящий костер и солдат, сидящих вокруг него, как в сказке «Двенадцать месяцев». Они солдатушек не испугались, более того, Сережа-хулиган не отказался от предложенной выпивки, а она при них сняла с себя джинсы и стала сушить их, демонстрируя голодным до женского тела воинам свои телеса.

Хулигана Сережу, через некоторое время послали за очередной бутылкой, а Бландину развлекали анекдотами, катали на плечах и, конечно, среди них нашелся тот, кто «это» с ней сделал. Я удивляюсь, как другие удержались. Полагаю, они интуитивно чувствовали, что ничем хорошим это не кончится. Но один смельчак, «сорви-голова», как я уже сказал, нашелся. Не при Сереже он это сделал, но Сережа каким-то образом про это узнал. Как-то пронюхал. Возможно, на прощание пригрозили ему, велели держать язык за зубами, а может, кто-то из зависти заложил ему своего сослуживца. Не исключаю и того, что сама рассказала. Главное не то, как узнал, от кого, главное, что узнал. Узнал и закручинился.

Надо сказать, что при такой, казавшейся совершенно бесспорной и чуть ли не по песенному «вечной весне», к вечеру, в аккурат после того, как Сережа с Бландиной с этой стройки злосчастной вышли, повалил с небес обильными хлопьями снег, задуло, закружило, началась пурга, настоящее светопреставление. А ночью ударили морозы и, попирая все календарные сроки, в город вернулась настоящая зима.

Жизнь тем не менее продолжалась. Бландина с Сережей ходили в школу. А, надо сказать, в их школе был очень нехороший учитель по химии. Ему мало было того, что ловил курильщиков на переменах; он, бывало, ведет урок и прямо с урока на цыпочках в мужской туалет. Поймает дымящих сигарками прогульщиков, и к директору их. И на душе станет легче. Была в нем такая потребность, эдакая тяга к порядку везде и во всем. Вот как-то вышел он на очередную охоту, потянул, как охотничий пес, свою сопаткой, – так и есть, курят, мерзавцы. Встал на цыпочки и пошел, а в голове одна мысль: «Только бы не спугнуть, взять с поличным». Совсем было приблизился к нарушителям порядка, но что это? Он прислушался и не накинулся. А вскоре и вовсе забыв о своих хищных намерениях и учительском долге пресекать на корню так же тихо, на цыпочках, ретировался. Что же он услышал? Кого застал с сигареткой в зубах? А застал он Сережу, которому ужасно хотелось выговориться, облегчить свою душу. Сережа рассказывал другу о своем горе. Не знаем, как другу, но учителю химии ужасно понравился этот рассказ. История, понятно, имела свое развитие. Бландина получила три двойки подряд, по химии, разумеется, и после уроков была приглашена учителем на беседу. Учитель хотел разобраться в причинах внезапно ухудшившейся успеваемости. Беседа проходила в химической лаборатории. Заперев лабораторию на ключ, учитель стал перебирать все возможные причины, в числе которых, как бы вскользь упомянул о том, что случилось с ней на стройке. Он хотел посмотреть, какая будет реакция на то, что он посвящен в ее тайну. Сам при этом покраснел, как маков цвет. В доли секунды Бландина поняла его мелкую душонку, нехитрые желания, его темный липкий интерес. И тут же механизм, при помощи которого она сможет манипулировать химиком, сам собой родился в ее прелестной головке. «С ним нужно переспать, – решила она. – Тогда не я у него, а он у меня будет на крючке».

В лаборатории Бландина пустила слезу, притворилась кающейся Магдалиной, просила никому не рассказывать о том, что с ней приключилось, обещала прийти к учителю на дом, для дополнительных занятий, уверяла, что позанимается и исправит все «неуды».

Химик продиктовал адрес и назначил время. И стала ученица седьмого класса «А» Бландина Иеринарховна Мещенс ходить к нему домой. Химией, понятное дело, они там не занимались, но вслед за двойками в классном журнале стали у нее появляться четверки. Пятерки не ставил из страха быть заподозренным.

Учитель химии с женой находился в разводе, имел такую же, как Бландина, четырнадцатилетнюю дочь, которая приходила к нему в гости по выходным. Жил в двухкомнатной коммунальной квартире. Одну комнату занимал он, а другую – ударник коммунистического труда, человек, всю свою жизнь честно проработавший на заводе. Труженик, которому до пенсии, до заслуженного оплаченного отдыха оставалось месяца два.

Ты спросишь меня, к чему я о труженике? Вот, собственно, к чему. Пришла Бландина в очередной раз в эту двухкомнатную квартиру, а химика нет. Не стану гадать, случайно они

разминулись или все это было устроено ей преднамеренно, суть не в этом. А в том, что развратная девчонка каким-то непонятным для меня образом распалила и соблазнила старика. И у ударника коммунистического труда произошел в голове переворот, изменились представления о том, что можно, а чего нельзя, что хорошо, а что не очень. Практика, как учил его Ленин, критерий истины. Решил он свои практические опыты не прекращать и обязательно доискаться до правды.

Тут, как на грех, пришла дочь химика, имевшая свой ключ, отца дома не оказалось, такое и раньше случалось. Она прошла в его комнату, включила телевизор и стала смотреть фильм. Сбитый с толку ударник труда не находил себе места. Решив, что молодое поколение живет по новым моральным нормам, он стал приставать к чистой девочке с грязными предложениями. Она дала ему решительный отпор, но сосед, решив, что девочка просто ломается, набивает себе цену (а для чего, спрашивается, короткую юбку надела?), взял, да и насильничал ее.

Вместо заслуженного и оплаченного отдыха с красивым названием «пенсион», вместо прохладного пива в жаркий летний день, собирания грибов и рыбалки, получил ударник место в учреждении исправительного профиля, где за содеянное сделался лагерной «дунькой» и очень скоро сгинул, презираемый своими солагерниками.

Что же Бландина? Чем она занята после уроков? Бландине не жарко, не холодно, не жаль ей ударника коммунистического труда, она продолжает на стройке встречаться... нет, не с хулиганом Сережей, а с тем самым солдатиком из стройбата, не прими, пожалуйста, на свой счет. Сереже она морочит голову, позволяет гладить только колени и ничего более. Да еще изводит парня рассказами о том, как вынуждена была ходить на дополнительные занятия. У парня играли на скулах желваки, сводило судорогой лицо, его всего корежило, а она, созерцая все это, испытывала наслаждение.

Итак, первый акт ее развратной жизни подходит к концу. С героями пьесы начинают происходить на первый взгляд странные, но зная предысторию, вполне закономерные вещи. Солдатик, ни с того, ни с сего выпадает из окна неоштукатуренного дома, из окна той самой комнаты, в которой совсем еще недавно на рваном диване услаждал свою грешную плоть. Кто ему в этом помог? Бландина? Сережа? Завистливые сослуживцы? А, может быть, сам справился, без посторонней помощи? Как говорится: «Тайна сия велика есть». Все эти вопросы так и останутся без ответа.

Идем дальше, мало химику горя, случившегося с дочкой, пострадал и сам. Хулиган Сережа, неожиданно для всех, прямо на уроке, вместо того, чтобы смешивать в колбе гидриды с ангидридами, ударил его ножом. Жить учитель после этого не перестал, но одну из двух почек пришлось удалить. Хулигана, чтобы другим неповадно было, примерно наказали, определив в колонию.

Такая вот веселенькая история, которая началась ранней весной. Знаешь, Бландина ведь мертвой родилась. Мать ее под наркозом запела песню: «Парней так много холостых на улицах Саратова». Достали из чрева певуны Бландину, врач с сожалением сказал: «Как жаль, такой большой ребенок», и со всей дури, со злостью швырнул ее, как мяч гандбольный, в корыто для отбросов. От удара она ожила, запищала. С тех пор живет себе припеваючи, а вокруг нее все умирают. Словно за подаренную ей жизнь какие-то неведомые силы постоянного выкупа требуют. У нее вся жизнь со смертью связана. Ходячая, живая мандрагора.

Мать ее очень хотела ребенка, но не могла забеременеть, с кем только не спала, все было тщетно, а тут сосед у них повесился и напоследок семя испустил; так что эта блудница удумала: взяла семя его на палец и оплодотворилась. Так Бландина и зародилась. Мать ее работала в крематории на Николо-Архангельском кладбище. Не видел его? Точная копия театра МХАТ, видимо, по одному проекту строили. Так вот, она говорила торжественно-утешительные речи родным и друзьям покойных, перед тем, как отправить почивших в бозе, в их последний и безвозвратный путь. Бландина рассказывала, что часто приходила к матери на работу,

любила летом, в ясную погоду прогуливаться по кладбищу. «Оно как парк, тихое и ухоженное». А в ненастье находилась в помещении крематория, на втором этаже траурного зала. Это огромный балкон, где располагаются и музыканты. Сидела, слушала живую музыку, панихидные речи матери и одновременно с этим вкушала калорийные булочки, запивая их кефиром.

– Я так и не понял из твоего рассказа, в чем она виновата. Почему ты от нее шарахаешься. И почему я... мне...

– А этого не пережив, наверное, и не поймешь, у тебя все впереди. Вспомнишь меня потом, если с такой встретишься. Для меня-то Бландина и подобные ей – пустое место, я к ним, как к прокаженным, опасаясь даже притрагиваться. А ведь я тебе далеко не все рассказал и это не конец, а только начало истории. Ты меня извини за вопрос: у тебя была женщина?

Я рассказал о Тане. Так же нудно и подробно, как и вам. Леонид терпеливо выслушал и спросил :

– Было у тебя с ней?

– Нет, конечно, нет.

– Значит, ты девственник?

– Ну, как сказать...

– Скажи, как есть.

– Выходит, что так. Ты только надо мной не смейся.

– Да что ты. Я завидую. И еще больше тебя стану уважать. Серьезно. Я и на трезвую голову эти слова повторю. А Бландины все-таки остерегайся. Вижу, попал ты в ее сети. Я ведь желаю только одного, убережь тебя от страшного падения.

Чем больше Леонид меня отговаривал, тем сильнее я убеждался в том, что Бландина мне нужна, просто необходима. Но для того, чтобы Леонида успокоить, я сделал вид, что его труд был не напрасен, что Бландина разоблачена, и я в ней разочаровался.

Леонид рассказывал о Бланине, слушал мою исповедь о Тане, и в то же время побеждал в сражении, когда бильярдный шар свалил последнего моего воина, Леонид налил мне штрафной стакан и с восторгом в голосе сказал:

– Это мой Тулон! А ты пей горькую, горькое вино поражения.

Далее он с упоением рассказывал мне о Наполеоне.

– Человеческая жизнь, даже своя собственная, для Бонапарта ничего не стоила, – с восторгом говорил Леонид, и я видел, как от восхищения перед своим кумиром у него блестели глаза.

У Леонида была масса открыток с изображением Наполеона. Он знал все о его победах и поражениях. А у меня из головы никак не шла Бландина, даже после штрафного стакана, за проигранный игрушечный бой. И водка действительно казалась горьким, противным вином, вином ранних поражений.

Глава 6 Люба Устименко

Леонид показывал мне свою Москву, ездили вместе к его друзьям, бывшим сокурсникам. Приехали как-то к сокурснице Любе Устименко, южно русской красавице, она нам очень обрадовалась, собрала на стол. Стали они вспоминать с Леонидом студенческие годы. За столом с нами сидел муж Любы, врач, по фамилии Бухарин (большой любитель посещать рестораны за чужой счет и делать флюорографию ученицам старших классов; мы потом с ним гуляли); в тот вечер был он угрюм и все время молчал. Дошло до того, что Люба прямо за столом, бесстыдно глядя на Леонида, сказала:

– А зря у нас с тобой не было романа. Надо было бы совокупиться. Таких замечательных любовников играли на сцене.

– Не зря, Любка, не зря, – воспротивился Леонид. – У тебя характер не сахар, да и у меня очень сложный, если не сказать, паршивый. Счастья не узнали бы. Знаешь, в армии, на втором году службы, всем снятся эротические сны, а мне снилось, как мы с тобой на сцене играли, то есть сексуальная энергия трансформировалась в творческую, и такое я от этого наслаждение получал, от этих снов. Нет, не зря, Любка, не зря. Зато теперь у нас хорошие отношения, у тебя замечательный ребенок, муж. Я тебе завидую и безумно рад за тебя.

– А я жалею, что так рано вышла замуж и бросила сцену. Хочется играть.

– Не жалей, Любка, не жалей. Наслаждайся семейной жизнью и даже не рыпайся. Давай, посмотрим, у кого из современных актрис удалась и семейная жизнь и карьера. Таких нет. Ну, две-три, не больше.

– Все же у двух-трех удалась?

– Нет. Я тебе солгал. Нет таких. Ну, давай, если тебе так хочется, поговорим о тех актрисах, которых можно назвать актрисами. . . . Даже не так, о тех людях, которые прожили жизнь и состоялись. Состоялись даже ценой отсутствия быта. Как правило, это сломанные судьбы, как правило, все они недоигранные. Возьмем, к примеру, чтобы далеко не ходить, мою мать. Вроде «звезда», вроде «прима», играет Гертруду на сцене; глядишь, не сегодня, завтра, за свои свершения получит «Гертруду» (Героя соцтруда) на грудь. Но смотри, если бы судьба ее сложилась идеально, то она могла бы сыграть раз в сто ролей больше и лучше. Ну, что у ней, за всю карьеру пять-шесть хороших ролей всего. Всего! У других ролей побольше, но они и классом пониже. Уверяю тебя, они все несчастные люди. Нет ни одной, которая бы реализовала себя даже на пятьдесят процентов. Не жалей. Для женщины главное все же семья. Выкармливай ребенка, люби мужа, и забудь об этом думать. Ну, а если желание не пропадет, ты со своими физическими данными всегда в киношке можешь подняться, а там, глядишь, ребенок подрастет, еще и на сцену вернешься.

Люба подарила мне книгу стихов Тараса Шевченко, на обратной дороге я читал стихи и спросил у Леонида:

– А режиссеры часто заводят романы с актрисами?

– Сплошь и рядом. Это беда. А почему ты спросил?

– Да как-то в голову пришло.

– Во время постановки спектакля, как правило, режиссеры заводят романы с актрисами. Увы, это так. Это от низкого культурного уровня всех нас. Этого делать категорически нельзя. Обязательно возникает момент влюбленности, момент увлечения друг другом, личностью, этапом работы. И вот здесь нельзя лезть в постель ни в коем случае, потому что все уйдет в постель, как в песок. Нужно беречь все это. Если уж очень хочется, переспи после спектакля, после премьеры. Но, нужно не забывать, что дальше следующий спектакль. Это гибель всех режиссеров. Только единицы, Букварев, например, который всю жизнь отбивался. Ни одного романа с актрисами, жену не взял в театр, потому что жена режиссера в театре, – это гибель

режиссера. И в конце расслабился и погорел на дочери. Дочь сыграла неблагоприятную роль жены, и сейчас позор. Она играет все, играет плохо. Обыкновенная, гнусная ситуация. Категорически нельзя. Все это знают, но все заводят романы. Все же люди. Влюбляешься же в актрису. К тому же, если она что-то интересное придумала, она это интересно и делает. И ты понимаешь, что это не просто женщина, а она к тому же еще и кукла в твоих руках, то есть сексуально настолько лакомый кусок. Все падки на это дело. И она, конечно, увлечена режиссером, смотрит на него, как на Господа бога, открыв рот, готовая исполнить любое его пожелание.

– Ну, и чем это плохо?

– Вот все думают так: «Ну что в этом плохого?». Но есть, как оказывается, на все свои законы. Лучше, как оказывается, без этого.

Глава 7 Футбол. Василий Васильевич

Леонид показал мне свою Москву. Сводил во все значные места. Обошли, объездили всех его друзей и знакомых. И как-то за очередным пловом у Сабурова решили вдруг играть в футбол. Собственно, сам Ренат и предложил, Леонид согласился, я как и принято в хороших и дружных компаниях, это предложение с удовольствием поддержал. И то сказать, сколько ж можно было пить, болтаться по гостям и трепаться. Надо заметить, что состояние радости в те дни было постоянное.

Лет до семи я совершенно был равнодушен к футболу и к хоккею. Разумеется, ни за какую команду не болел. Даже наоборот. Помню, была какая-то олимпиада и мама с папой говорили: «Ерунда, выключай телевизор, пойдем, лучше погуляем». Так что воспитывался я в антиспортивных условиях, так сказать, не прививали мне любовь к здоровому образу жизни через спорт.

В семь лет, сам по себе, увлекся сначала хоккеем, а затем и футболом. Тогда приехал к нам погостить брат мой двоюродный Валерка, сын дяди Толи и тети Вари из Москвы. Он меня на коньках учил кататься. Давал мне один конец клюшки, сам брался за другой и вез, не спеша. Вот, пока вез, во время этого процесса, я и старался приноровиться к конькам, к их неустойчивости. Эдак, дня три на площадке возле дома мы катались и первые азы я за эти три урока усвоил. Затем уже сам, без посторонней помощи, постигал эту науку, катание на коньках и довольно приличных добился результатов. Вот тогда и стал с интересом смотреть хоккейные матчи, слушать, что говорят о хоккее, о футболе.

Не помню, как так случилось, что болеть стал за ЦСКА. Брат, он ни за кого не болел, влияния на меня оказать не мог. Возможно, это случилось самым естественным образом, играли они тогда хорошо, постоянно занимали первое место. В детстве все строится на стремлении быть первым, быть победителем во всех играх. Быть первым хотя бы среди сверстников.

Когда исполнилось мне десять лет, пошли в Москве с братом на футбол. Тетя Варя кем-то работала в Лужниках, сказала номер сектора и назвала имя-отчество подруги своей, которая торговала там бутербродами. У нее там было что-то похожее на небольшой буфет. Тетя Роза ее звали.

Нашли мы этот сектор, смотрим, тетенька какая-то в белом халате, подошли. А там решетка и до тетеньки метров пятнадцать. Стали кричать: «Тетя Роза, тетя Роза!». Отозвалась, подошла. Объяснили ей, кто мы такие. Вот, говорим, хотели бы на матч посмотреть. Ну, и проблем не возникло, она провела нас легко служебными тропами. Стадион показался огромным, он тогда еще был новый, особенно запомнилась изумрудная трава на поле. Когда еще смотрели с улицы, был виден краешек поля, дорожки беговые. Сейчас они все выгоревшие, а тогда были бордовые, красные, хорошо размеченные. Красивый был стадион, очень мне понравился.

Матч был «Спартак-Зенит». Болельщиков «Спартака» тысяч двадцать собралось, и мы сели как раз среди них. Да на стадионе, можно считать, только они и были. Ленинградских болельщиков практически не было. Тогда еще не вошла в моду традиция ездить из города в город, поддерживать команду. Ну, и как стали эти тысячи, которые нас окружали, скандировать «Спартак» и хлопать приветствие своей команде, тоже захотелось встать, хлопать и кричать, что я и сделал. Тут-то брат меня и осадил: «Ты это чего?» – спрашивает и как-то совсем недружелюбно при этом смотрит. Мы болели за ЦСКА и всегда против «Спартака», а тут я поддался соблазну. Я испугался своей слабости и, оправдываясь, стал лгать, мотивируя свое поведение тем, что «Спартак» – московская команда. Брат тогда принципиальность проявил, а через год уже ни за какую команду не болел. Ни за футболом, ни за хоккеем не следил.

В футбол я играл также с самого детства, играл каждый день и часа по четыре. Техники не было, приемам обманным не учили, что было – все от природы. Понимание игры, чувство позиций, правильное вычисление развития атаки. Чувствовать игру научился рано. Школы,

конечно, не хватало, мечтал пойти в школу ЦСКА, там набор был, как раз последний год. С семи лет до двенадцати брали, мне было двенадцать.

Это объявление я увидел в Москве, когда гостил у тетки: «В школу ЦСКА идет набор мальчиков с 7 до 12 лет». Но как-то не было смелости съездить узнать, с жильем, то есть с проживанием в школе, или нет. Ведь постоянно жить в Москве у меня не было возможности. Да и много других комплексов было. Спортивных трусов не имел, не имелось и формы. Все эти мелочи угнетали, так сказать, бытовые трудности накладывались на юношеские комплексы.

Играть решили по вечерам, сразу после того, как Ренат закончит свою торговлю. Первую спортивную встречу назначили на следующий день, а точнее, на вечер. Торговал Ренат на Тишинском рынке. Местом для игры был выбран тихий дворик на Патриарших прудах. Пять минут ходьбы от рынка. Собственно, идея играть в футбол и родилась у Рената, когда он увидел этот дворик, эту пустующую спортивную площадку. Ренат пил пиво на Патриарших прудах, туалет оказался на замке. В поисках укромного места он прошел через арку и оказался во дворике. А там глазам своим не поверил: играй, не хочу. Тогда же и зародилась спортивная мысль. Теперь же с мячом в руках мы шли ее реализовывать. Первая игра, как первый блин, не удалась. Мы пришли на спортплощадку втроем, справедливо полагая, что хоть кто-нибудь да будет там играть. Но, к нашему удивлению, никого не было, а играть в футбол втроем не слишком здорово.

Спортплощадка была хоть куда. Огороженная, с деревянными бортами и металлической сеткой над ними, имела в наличии хоккейные ворота и баскетбольные щиты. Мы, конечно, вышли из положения. Поиграли в одно касание, до первого гола, навывлет. Затем, используя футбольный мяч, как баскетбольный, поиграли в двадцать одно. Все мы – и я, и Леонид, и Ренат, соскучились по подвижным играм, застоялись, кто на стройке, кто в армии, кто на рынке. Поэтому резвились, как малые дети. И решили мы занятия спортом не оставлять и сделать их регулярными. Причем решено было отнестись к ним со всей серьезностью.

Ночь перед второй игрой я провел в своем общежитии. Утром позвонил Леониду, он предложил заехать за Ренатом на рынок.

– А то Хмели-Сунели опять брата не возьмет, – так Леонид мотивировал свое предложение.

Встретились в вестибюле станции метро «Маяковская» и от метро пошли на рынок. Рената застали за разговором с женщиной.

– Я вам два раза заплатила за товар, – говорила женщина.

– Ой, да что вы! – возмутился Ренат. – Вы не знаете, какой я человек! Я умру, если за один товар возьму деньги два раза.

– Надо же, – сказал Леонид, протягивая Сабурову руку для пожатия, – это правда?

– Чистая правда! – искренне и громко сказал Ренат и, подмигнув нам, уже другим, тихим, вкрадчивым голосом добавил. – Что за люди пошли, за копейку удавятся.

Женщина посмотрела с вопросом во взоре на него, с интересом на нас и, так ничего не добившись, отошла в сторону.

Конечно, он взял за один товар деньги два раза и совсем не переживал на этот счет, даже наоборот, бравировал этим. Понятия добра и зла не имели для него формы закона, были условны и совершенно необязательны. Надо сказать, что и я, и Леонид были точно такими же.

– Помню, он мясом торговал, – стал рассказывать Леонид, подошла тетушка, смотрит жадными глазами и не покупает. Но не из бедных, видно, что водятся у нее деньжата. Ренат говорит: «Берите, чудесное мясо». «Мне нельзя, я больная, врачи запретили». «Так это ж совсем другое, лечебное мясо. Это если покушаете, то обязательно выздоровеете; особенно полезно, когда покушаете с морковкой и луком. Мертвые поднимаются». И что же ты думаешь, через неделю пришла, благодарила. Вот что значит правильный настрой. Ты специи свои где берешь?

– Да у кришнаитов, – охотно признался Сабуров. – У них на Беговой храм открылся и ларек при нем. Там у них все очень дешево. Трехкратную накрутку делаю, и все одно берут «на ура».

– Все ясно с вами, сворачивай лавочку, выкликай Шамиля и пойдём. Играть будем двое на двое, а там, глядишь, ещё спортсмены подтянутся, не все же они там вымерли, в самом-то деле.

Сначала играли так: я с Ренатом против Леонида с Шамилем. Но так как против старшего брата младший Сабуров играть во всю свою молодецкую силу боялся, хоть и был шире в плечах и выше на две головы, то мы решили, что будет правильнее братьев объединить в одну команду, а нам с Леонидом играть против них. Двое на двое мы играли недолго. Как только братья Сабуровы стали проигрывать, Ренат пригласил в свою команду местного паренька, наблюдавшего за игрой.

Паренька звали Мишей, было ему годков семнадцать, и один глаз у него не моргал. Мы только потом узнали, что этот глаз стеклянный.

– Эй, Сунели, ты что делаешь? Так не пойдет, – кричал ему Леонид.

– Пойдет, пойдет, – смеялся Ренат. – Сейчас кто-нибудь подойдет, за вас будет.

Они, атакуя втроем, тотчас нам забили гол. Выкатывая мяч из ворот, Леонид обратил внимание на пожилого грузного мужчину, стоящего за бортиком.

– Встать на ворота не хотите? – спросил он у него. Спросил более для смеха, нежели всерьез, сделал это как бы только для того, чтобы показать Ренату, что никто не играет за нас, то есть лишний раз воззвать к его совести. Чтобы убрал тот лишнего игрока. Но мужчина с неожиданной готовностью согласился и тут же занял место в воротах. Он так и играл в своем дорогом выходном костюме из чистой шерсти. Кидался на мяч с такой решительностью, словно от того, пропустит он гол или нет, зависела его жизнь.

Противник не жалел вратаря, не делал скидки на дорогой костюм, на возраст, на одышку. Рвался к нашим воротам, изо всех сил рассчитывая на победный результат. Наш вратарь продрал и испачкал весь свой наряд, но так и не позволил этому случиться. Только благодаря вратарю, говорю это без преувеличения, мы в тот день и одержали победу.

После окончания игры он сиял, как начищенный рубль и, преодолевая застенчивость, робко спросил:

– А когда вы еще играете?

– Да хоть завтра, – сказал Леонид.

– А мне с вами можно?

– Тебя как звать-то? – улыбаясь по-братски и разговаривая уже запанибрата, вопрошал Москалев.

– Васька, – ответил мужчина и широко, по-доброму улыбнулся.

Мы все разом, не стовариваясь, рассмеялись.

– Василь Василич, – поправился он.

– Давай, Василь Василич, приходи завтра в это же время, – пригласил Леонид и дал совет. – Да и одень чего-нибудь полегче. А то с этим футболом без выходных костюмов останешься. Есть у тебя что-нибудь более подходящее или принести?

– Есть, есть, найдется. Спасибо, ребята, до завтра.

Василь Василич снова просиял, со всеми простился персонально и ушел.

Мы, честно говоря, на него не рассчитывали, а вот Мишу ждали. И получилось так, что Миша в тот день не смог прийти, а Василь Василич прибыл в срок. Он был в светло-синем олимпийском костюме с буквой «Д» на груди. В нашей команде играл я, Леонид и Василь Василич. А против нас Ренат, Шамиль и двое дворовых мальчишек. И эта игра осталась за нами. Леонид почувствовал вкус победы и ему, окрыленному успехами, захотелось большего. На двух

машинах (на семерке Рената и на Волге ГАЗ-21 Савелия Трифоновича, за рулем которой сидел Леонид) мы поехали по Дмитровскому шоссе, в зону отдыха «Водник», что на берегу Клязьмы.

Там, на этом самом берегу, было шикарное футбольное поле, небольшое, если сравнивать с настоящим, а если сравнивать с той хоккейной коробочкой, в московском дворе, на которой мы играли, то очень даже приличное. Ворота там были тоже не хоккейные, размерами вдвое больше и в длину и в высоту. Василь Василичу заново приходилось ко всему привыкать.

Играли с местными ребятами, школьниками девярых-десятых классов. Состав нашей команды был такой: я, Леонид, Василь Василич, Ренат, Шамиль и Миша. Впоследствии присоединился к нам и Керя Халуганов. Играли в этом полном составе пять раз. Четыре матча выиграли, один проиграли. Счет был следующий: 4:2; 10:5; 13:12; 3:5 (проиграли); 8:6. Последнюю игру в серии выиграли. Это я к тому, чтобы вы не подумали так: дескать, силы кончились, спеклись. Не спеклись мы, силы у нас не кончились.

Как ни странно, на Клязьме я голов забивал мало. Вот последний гол, с пенальти, я красиво забил, а так все забивали другие. Мне приходилось играть в полузащите, где выполнял большой объем работ. И в роли нападающего выступал, и тут же молниеносно приходилось возвращаться в защиту. В начале я собой был очень недоволен, а последние игры удавались. Не лукавя, скажу, что мяч у меня было отнять не просто, хотя, возможно, соперник стеснялся играть жестко. Не знаю. Пасы давал точные. Впереди у нас паслись Ренат с Шамилем, иногда Леонид, от Халуганова там толку мало было, а вот в защите он играл хорошо. Миша хорош был в защите, молодец парень. Василь Василич просто второй Яшин. Без него мы бы ни одной игры не выиграли. В том матче, где одолели соперника с минимальным преимуществом и пропустили двенадцать мячей, виноваты были все, кроме него. Да и не стой он так, как стоял, этих мячей было бы не двенадцать, а все сто двадцать.

Отыграв пять заранее оговоренных матчей, наша команда распалась. Не по чьей-либо отдельной вине, а скорее, по воле сложившихся обстоятельств. Миша уехал отдыхать к бабушке в деревню, у нас с Леонидом на носу были вступительные экзамены, надо было готовиться. Керя, влюбив в себя женщину – зубного техника, отбывал к ней на родину, знакомиться с ее родителями. Ренат с Шамилем по делам уезжали во Владивосток. Зачем именно, допытываться было неловко, а сами они о цели своей поездки не распространялись. У Василь Василича также возник дефицит со свободным временем. Словом, у всех появились свои неотложные дела. Ну, а коль скоро никто не знал, соберемся ли мы снова или нет после этой предстоящей разлуки, то решено было устроить прощальный вечер.

Василь Василич пригласил всех к себе. Устроили, если можно так сказать, своеобразный мальчишник. Ренат, по просьбе хозяина помогал готовить. Накрыли чудесный, царский стол. Была и водка, и вино, и закуска на любой вкус и тот самый замечательный плов, который так хорошо умел готовить Сабуров-старший.

Когда все уселись и утомнились, Василь Василич налил себе в бокал минеральной воды, встал и, волнуясь, сказал:

– Друзья мои! Милые, хорошие мои ребятки! Я полковник Министерства внутренних дел, полковник милиции, последнее время занимал генеральскую должность, со дня на день должен был получить звание и погоны генерал-майора, но заболел. Заболел, лег в госпиталь, а там началось. Сначала сказали, что у меня рак поджелудочной железы, затем передумали, сказали – рак желудка и после этих радостных в кавычках сообщений, извинились и сказали: «Компьютер у нас ошибся, у вас никакой не рак, а панкреатит, холецистит и еще что-то неопасное». Спасибо компьютеру за то, что исправился. Откуда же, думаю, у меня столько болезней, ведь мне всего сорок восемь лет? Неужели все от водки? Нет. От нервов, должно быть, от нервов. Жене тоже сорок восемь лет, но она со мной жить не хотела, подала на развод. Перед тем, как положили в госпиталь, она на суд не пошла, думала, умру, все ей останется. Сестру свою к себе прописала, боялась, что в дурдом ее отправлю. «У него же связи». По себе, навер-

ное, судила. И чего только не выдумывала, чего только соседям не рассказывала. Говорила, что я ее ногой, обутой в сапог, бью по почкам, и не только ногой, и не только по почкам. В общем, понять ее можно, нужны же были для развода причины... Выписавшись из госпиталя, я две недели провалялся на диване. Затем еще недели две провел на кухне, сидя у окна. Жена со мной не разговаривала, даже не готовила. Кормила меня сестра ее. Друзья забыли, никто не пришел, не позвонил. Да и чего их винить, вел себя с ними перед госпиталем как последняя... Как мерзавец. Посидел на кухне, поглазел в окно, решил, что надо потихоньку на улицу выходить, делать короткие прогулки. Все же, думаю, весна на дворе, не зима. Прогулялся для первого раза по дворику, посидел на скамейке у подъезда. Вроде ничего. Спал в ту ночь получше. На следующий день расхорохорился, сходил в магазин, купил продуктов. Для жены купил да для Даши, сестры ее. Сам-то я все не ел, не было аппетита. А потом пришли вы в мою жизнь, и совсем о смерти думать перестал. Помню, как в первый раз вас увидел, играющих в футбол. Сердце в груди так и зашлось. Словно предчувствовал, что через вас, через футбол к жизни нормальной вернусь. Помню, Леонид мне крикнул: «Иди, отец, встань в ворота». Я сначала ушам своим не поверил, настолько неожиданным показалось мне это предложение. Встал, значит, в ворота, стою. Дима подходит: «Ты, – говорит, – давай, Василий, не подведи. Стой так, чтобы ворота были на замке».

Не помню, чтобы я что-либо подобное говорил, но тут уж молчал и улыбался со всеми.

– И я старался, стоял, забыв и про время, и про болезнь. Соперники в той, в первой игре, были хлопцы горячие, – он добродушно посмотрел на Рената с Шамилем; Миши за столом не было. – Рвались к моим воротам, как Гитлер к Москве, хотели прорвать оборону, но я был на месте. Вы только не примите это все за хвастовство. Вспомни, Ренат, подтверди, в той игре, как встал я на ворота, вы только лишь два гола забили, а Дима с Леной вам шесть штук заколотили.

– Без тебя бы мы пропали, – поддержал Василь Василича Леонид.

– Так точно. И я бы без вас пропал. А с вами воскрес, прямо-таки крылья за спиной выросли. Ты ведь эти слова, Ленка, мне и тогда, после игры сказал. Я еще подумал о том, что давно не слышал таких добрых, а главное, искренних слов в свой адрес. На службе хвалили часто за дело и без дела, но все не так. Ведь вы мне, может, не поверите, но я тогда, после первой игры, впервые за десять лет, уснул без снотворного и спал спокойно, безмятежно, ощущая какую-то давно забытую радость. Запахи, как в детстве, стал ощущать, вкус к жизни вернулся, появился аппетит. А когда на Клязьму приехали, помните? Помните, играли ту бесконечную игру? Когда гоняли мяч чуть ли не до утра? Над нами звезды, под ногами скользкая, в росе трава, противник напирает. Виноват я перед вами, напропускал тогда бабочек. (Мы выиграли 13:12). Ноги скользят, ничего уже не вижу. За мячом кидаюсь наугад. И, конечно, не всегда угадывал. На что уж Дима выдержанный какой, и тот, помню, после очередного пропущенного мяча подошел и... Нет, не накричал, но сердито так сказал: «Ну что ж ты, Василич, нужно было просто руку подставить». Я тогда еще подумал: «Давненько тебя, Васька, не распекали, отвык краснеть и выслушивать подобные речи». Всю ночь переживал, на следующий день, с утра пораньше побежал в спортивный магазин, купил себе бутсы, чтобы на траве ноги не скользили. И еще купил вратарские прорезиненные перчатки. Прелесть, что за вещь. Помогли мне очень, надо было раньше приобрести. Как говорится, пока гром не грянет... О чем я? Да. Ноги скользили, переживал. А вот у Миши, у того не скользили, он все игры в своих сандалиях пробегал. Жаль, что его нет сегодня с нами. Золото, а не парень. У него же, как вы знаете, одного глаза нет. Это в его-то семнадцать. А как играл, как заразительно смеялся. Вот всем нам пример человеческого мужества. Я на него глядя, много о чем таком, знаете..., стал задумываться. Ведь я раньше как жил? Плохо жил. Напивался, как свинья, развратничал. Голова была забита дурными мыслями. Нечистоплотными, скажем так, намерениями. Матерился почему зря. Денежки очень любил, желал их иметь как можно больше. А зачем? Все из-за боязни «черного дня»,

нечаянной нищеты. А сказали, что рак, думаю, на что они мне? Все суетился, все занят был не тем. Подарки очень уж любил. Любил присваивать чужое. А какой был вспыльчивый! Крик, матерщина, – вот это и было нормальным обращением с сослуживцами. Утешал себя, дескать, иначе с ними и нельзя. Не поймут, не послушаются. И, конечно, ленился добро людям делать. Я имею в виду те добрые дела, сделать которые мне ничего не стоило. Отговаривался тем, что они сами собой сделаются. Ну, например, сотруднику, потерявшему ногу на службе, насчет хорошего протеза похлопотать, или замолвить словечко насчет нуждающегося в жилплощади. Все это откладывал в долгий ящик. Ожесточен был на весь род людской, все искал чинов, славы. Это было смыслом жизни. Да и теперь, каюсь, все еще отказаться от этого не могу. Кажется мне это очень важным. Хотя вчера еще стоял одной ногой в могиле. Вот человек, поди, пойми его. Тут в жизни моей, кроме знакомства с вами, произошли еще кое-какие приятные перемены. С женой своей я официально развелся и записался с сестрой ее. Вроде понимаем друг друга, симпатия есть обоюдная. Говорю ей: «Прости, Даша, хотел стать генералом, но не смог». А она: «Ты для меня, Василек, самый наиглавнейший маршал». Слыхали?

Василь Васильевич расчувствовался, даже прослезился, но все же тост свой закончил, довел до конца:

– За вас, хорошие мои, чтобы все вы стали в своих областях и науках самыми наиглавнейшими маршалами. Ну, а коли не выйдет, то по крайности, нашли бы себе таких подруг, спутниц жизненных, которые бы вас за таковых почитали.

Все с удовольствием за это выпили. Много в тот вечер еще говорилось, пилось и елось. В первом часу ночи стали прощаться с нашим славным голкипером и расходиться по домам. Провожая нас, гостеприимный хозяин каждому крепко пожимал руку и говорил «спасибо». С Леонидом прощаясь, он обнялся и дрогнувшим голосом сказал:

– Не забывай меня.

Глава 8 Гарбылев

Судьба распорядилась таким образом, что Леонид уже на следующий день позвонил Ваське и попросил помочь в деле получения паспорта гражданину Гарбылеву Николаю Васильевичу. Делал он это не по своему хотению, а по просьбе Бландины.

Этот самый гражданин Гарбылев не так давно вернулся из мест заключения и совершенно не верил в то, что ему взамен справки об освобождении дадут настоящий, как у всех, паспорт.

Говоря по совести, Бландина не переставала меня волновать, и чем больше я узнавал о ней (пусть даже самое плохое и безобразное), тем сильнее во мне разгоралась страсть. Я видел ее всего несколько секунд, да и то, со спины, но мне и этого оказалось достаточно. Душа хотела любить, требовала любви, нуждалась в ней, как в воздухе нуждается живое существо. Любимой не было, любимой стала Бландина. Я уже начинал к ней ревновать Леонида. Чем сильнее он от нее отказывался, тем менее я был склонен ему верить. Леонид, конечно, все это замечал, чувствовал и вот, в машине, готовой ехать за Гарбылевым, произошел у нас с ним такой разговор:

– Что ж, если есть возможность, отчего же не помочь человеку, – как бы оправдываясь передо мной, находясь при этом в самом превосходном настроении, говорил Леонид.

Дело в том, что звонила ему Бландина, поздравила с благополучным возвращением со службы и попросила помочь знакомому.

– А тебе не кажется, что она таким образом наводит мосты? – интересовался я, не умея скрыть своего волнения.

– Мне до нее нет дела, – прохладно отвечал Леонид. И улыбаясь, глядя на меня, конечно, все понимая, советовал, – Эх, Дима, не отдавай своих сил женщине. Столько у нас с тобой впереди великих свершений, столько замыслов. А ты все к бабам, к бабам. Надо в институт поступить. Я не думаю, что возникнут сложности, но все же. Надо на ноги крепко встать, а у тебя на уме одна Бландина. Плюнь ты на нее, пусть барахтается в своей мерзости. Нам надо не назад, а вперед смотреть. Давай, помечтаем. Давненько я не мечтал, а ведь, пожалуй, нет на свете ничего слаще и прекраснее этого занятия. Мечтать ведь можно обо всем, тем более, что мы молоды, талантливы, амбициозны, и все дороги перед нами открыты. Знай, не ленись, и путь твой будет устлан лепестками роз. Я, конечно, очень виноват перед тобой, перед людьми, перед землей, по которой хожу. Я пролил кровь и она вопиет. Мне теперь, кроме того, что в десятки раз более других надо трудиться, необходимо еще постараться, всячески искупить, загладить свою вину. Не знаю, удастся ли, но я попытаюсь. Попытаюсь помочь матери, потерявшей сына... Это мой долг, моя первая и самая ответственная задача. И вот еще что. Эта тема, конечно, интимная, но я скажу тебе так. Надо нам, Дима, в церковь с тобой ходить. Надо сделать это правилом. Если нет желания, так силком, за шкирку себя в храм тащить. Без веры в Бога не может быть настоящего художника, а может быть, одна лишь горькая пародия. Так что если не уверуем, никакой нам ГИТИС не поможет. Будем блуждать всю свою жизнь и являясь слепыми, будем водить за собой таких же слепцов. Я сказал «таких же» и соврал. Ибо они, хоть и слепы, никого никуда не ведут, а мы-то лезем в поводыри, уверяем, что знаем дорогу. И тут очень тонкий момент. Становишься обманщиком. Обманщиком! Знаешь, сколько в театре таких? Не сосчитаешь. Выходят они на сцену. Один, семеро или тридцать, – это без разницы. Зритель ждет от них любви, подростки – светлого примера, женщины хотят услышать те слова, которые не услышали от мужей, а они, вместо того, чтобы сказать эти слова, подать пример, полюбить, обворовывают их и прячутся в кулисах. А там, за занавесом, стоит тот самый, главный обманщик, который уверяет этих мелких, что все хорошо, что так и следует жить и тру-

диться на сцене. И такой фарс происходит изо дня в день. Сотни, тысячи поломанных судеб. Кромешная ложь, из которой не выбраться.

Давай дадим себе слово, что не станем такими, не станем морочить людей и вводить в заблуждение себя. Не выйдет из нас режиссеров, пойдем в торговлю, пойдем воровать, убивать, что в сто, в тысячу раз честнее. Давай поклянемся!

– Давай, – сказал я, воодушевленный словами Леонида.

– Клянемся быть творцами, служить Великому искусству! Не предавать в себе стремления спасти весь род людской, спасти и сделать его лучше. Клянемся не лгать, не подличать, не лицемерить. Клянемся надеяться, верить, любить! Клянусь!

– Клянусь! – повторил я.

– Мы выбрали самую интересную профессию, – вдохновенно продолжал Леонид. – Но в ней надо постоянно держать ухо востро. Надо быть чуткими и трепетными, а главное, искренними. Начнешь работать спустя рукава, перестанешь боготворить актеров и сцену, и они отомстят, уничтожат тебя. Ты меня прости за то, что обращаюсь к тебе, как учитель к ученику, все наставляю. Это оттого так, что на данный момент я в театре поболее сведущ, что, разумеется, явление временное.

Леонид задумался, загрустил.

– Что же ты сложил свои крылья, – подбодрил я Леонида, – ведь хотел воспарить, помечтать.

– Да. Будет – все. Будет у нас с тобой красивая творческая жизнь. Будут свои театры, свои актеры, свои творческие лаборатории. Будут жены, дети, пристрастия. Разбредемся мы на время, обрастая своими заботами, своей жизнью, но этот разговор запомни. Можешь считать его моим объяснением в любви. В дружеской любви, конечно. А теперь, давай-ка, пристегнись ремнем безопасности и поехали за уголовником.

Уголовником Леонид называл Гарбылева, того самого знакомого Бландины, которому, по ее просьбе пообещал свое содействие в получении паспорта и прописки. Уголовник жил у Бландины, когда подъехали к условному месту, то увидели не только его, но и ее, собственной персоной.

Бландина стояла вместе с Гарбылевым исключительно для того, чтобы сдать его с рук на руки. Вот тут-то я и рассмотрел ее хорошенько, как говорится, не только затылок увидел, но и профиль, и анфас; признаюсь, фантазия моя нарисовала более привлекательный портрет, нежели обнаруженный в оригинале. Да, она была хороша, можно сказать, что даже очень хороша, но сердце мое в тот момент не екнуло.

С Леонидом она держала себя спокойно, тех воспаленных глаз сучки, у которой течка, я не заметил. Леонид себя вел так же, ровно и сдержанно. Они совершенно не походили на тех людей, у которых в прошлом были шуры-муры, скорей, напоминали двух чужих, едва знакомых. Бландина мне показалась похожей на девушку с крышки плавленого сырка «Виола». Рисунок на крышке, конечно, был не точной копией, скорей, карикатурой, но какое-то сходство все же наблюдалось. Забегая вперед, скажу, что я, как-то совершенно бездумно стал собирать эти сырные крышки, и у меня их набралось приличное количество.

С Бландиной Леонид не перекинулся и парой слов, они были друг с другом подчеркнута чужими. Мужа рядом с Бландиной не было, как узнал я впоследствии, его с ней рядом не стало с того самого дня, как мы заметили их на причале.

Немаловажная деталь, когда подъехали к условленному месту, и Леонид вышел из машины, я не последовал за ним, а остался сидеть на месте. Я имел возможность рассматривать Бландину, оставаясь ею незамеченным. Признаюсь, что очень хотелось выйти, представиться, но эта длинная эмоциональная речь Леонида на меня подействовала. Я остался в машине.

Я не оговорился, сказав, что Гарбылева передавали с рук на руки. Он действительно в те дни был, как инопланетянин, не мог адекватно воспринимать окружающую его действительность. За ним нужен был глаз да глаз.

Насчет получения паспорта, откровенно говоря, я не уверен, что могли бы возникнуть какие-либо шероховатости, и что так уж была необходима помощь Василь Василича. Но, коль скоро Гарбылев боялся, а об одолжении просила сама Бландина, то Леонид, конечно, постарался упростить эту и без того не сложную процедуру.

Гарбылев был мужчина годов сорока, сухой, жилистый, в своих движениях очень скованный, с печатью лагерного прошлого на лице. Не красавец, и не уродец, обычный средний человек и, если бы за него не хлопотала Бландина, то и рассматривать его я бы не стал. Только то, что она принимала участие в его судьбе, и вызвало к нему интерес. Так-то все мы на этом свете устроены.

Как же получали паспорт? О, это была настоящая комедия. Подъехали к зданию милиции, прошли в отдельное помещение, под общим названием «паспортный стол». В помещении несколько кабинетов, все заперты, на стенах пояснительные пособия, в помощь заполняющим заявления, требования. А на полу – кровь. Самые настоящие капли крови. Тут же появилась уборщица с мокрой тряпкой, стала кровь замывать и сказала:

– Это от мяса, мясо кто-то нес, с него и накапало.

Скорее всего, так оно и было, но в милиции, если видишь кровь на полу, то это всегда воспринимается, как следы, оставшиеся после избиения.

Леонид усмехнулся и рассказал свою историю про пятна крови.

– Ренат, когда получил комнату, первым делом купил холодильник. Кроме холодильника, никакой мебели не было, спали с женой на полу на матрасе. Прислали родители деньги на мебель. А хранить их негде, положил все в тот же холодильник. Отключили электричество, пока был на работе, мясо в морозильнике оттаяло и кровь с него стала капать на деньги, и потихоньку всю пачку собой залила. Ему нужно кровать купить, а у него деньги не берут. Пошел в сберкассау обменять, и там не взяли. Милиционер, тот, что в сберкассе, шутит: «Ты что, человека грохнул?». Шутить шутит, а сам поглядывает с опаской. Пришлось в милицию идти, объяснять, что и как, сдавать деньги с кровью на анализ и, лишь когда убедились, что кровь баранья, а не человеческая, купюры обменяли. Вот как сильны стереотипы.

В тот день паспортный стол не работал, был выходной, но отчего-то Леониду назначили приехать именно в выходной. К тому же следом за нами, в помещение вошли и толпились в ожидании несколько азербайджанцев. Один из них попросил разменять крупную денежную купюру, на более мелкие. Леонид разменял. Пришел пузатый, очень грозный на вид майор, начальник паспортного стола и, открывая дверь своего кабинета, очень строго закричал:

– Это что тут такое? Сегодня выходной, немедленно все расходитесь.

Кричал он строго, но в то же время как-то не искренно, неубедительно. Никто его не стал слушать, наоборот, все засуетились, стали готовиться к приему. Тот азербайджанец, что менял деньги, попросил, чтобы его пропустили первым.

– Ну, что ты, джигит, – отказал ему Леонид. – У нас у самих дело пятиминутное.

– Э-э, зачем так говоришь? – не унимался джигит, указывая на сумку-пакет, которую Леонид держал в руке. – Разве не понимаю?

Тут и я обратил внимание на эту сумку и заинтересовался ее содержимым. В сумке лежала коробка конфет и бутылка водки 0,75 литра.

– На, держи, – сказал Леонид, обращаясь к Николаю Васильевичу, – дашь, как сладости, к чаю.

Москалев постучался, приоткрыл дверь кабинета и втолкнул туда Гарбылева.

Через несколько минут, сидя в машине, уже сам Гарбылев рассказывал о том, как его встретил начальник паспортного стола.

Как только Николай Василич назвал свою фамилию, майор нахмурился, но не слишком, все поглядывал на пакет, который Гарбылев держал в руках. Однако, разглядывая справку об освобождении, не смог утерпеть и стал распекать:

– Ну, Коля, ты даешь! – сердито приговаривал он. – Сам прийти не мог? Зачем-то руководство побеспокоил. Что мы, волки, чтобы нас бояться?

Майор замолчал и пристально посмотрел на Гарбылева, как бы ожидая ответа на свой вопрос. Гарбылев, не зная, что говорить (скажешь «волки», то есть, как он понимал, еще обидятся, а лгать ему было «западлю»), протянул пакет и сквозь зубы процедил:

– Конфеты.

Майор охотно взял пакет, заглянул в него и просиял.

– Ну, Коля, ты даешь! – сказал, счастливый, восторженный, в миг повеселевший хозяин кабинета. – Да здесь, смотрю, не только конфеты.

От майора попахивало перегаром, он мучался с самого утра, не имея возможности опохмелиться, а тут целая бутылка. Он крепко пожал Гарбылеву руку, привлек его к себе и в качестве особой благодарности, а также от переизбытка чувств, поцеловал в губы.

Когда Гарбылев рассказывал об этом, Леонид хохотал до слез и подтрунивал, говорил:

– Ну, ты губы теперь не мой. Это тебе как медаль. А если серьезно, не целуйся с ментами, до добра тебя это не доведет.

Николай Васильевич, действительно, очень смешно о поцелуе рассказывал. Он и стыдился того, что его поцеловали, и в то же время сам не мог поверить в это. Не мог понять, зачем майору это понадобилось. Сомнения его дошли до того, до того он додумался, что расценил поцелуй, как альтернативу паспорта, то есть как вежливую форму отказа. Но Леонид его успокоил. Проблем с получением, действительно, не было. Так же через несколько дней приехали и Николай Василич получил паспорт. Все не мог на него наглядеться.

– Я теперь его спрячу подальше, – говорил он, находясь словно в бреду, – слишком дорого он мне достался. А то бывают такие случаи, что возьмет милиционер, да и порвет паспорт.

Мы сдали Гарбылева с рук на руки и на какое-то время он исчез из нашей жизни. Появился вновь уже, как герой, но прежде чем поведать об этом, приведу пересказ Леонида о получении паспорта. То, как он своей матушке об этом рассказывал:

– Вошел злой до белого каления майор, начальник паспортного стола, ударил одного из азеров с такой силой по затылку, что у того чуть голова не оторвалась. «Не у себя дома, кепку сними». А на Гарбылева глядя, закричал: «А вас, уголовников, тварей, я бы всех под каток, в асфальт закатал, в лепешку». А когда уже бутылку водки взял, да вспомнил про звонок, прослезился от радости, говорит: «Микола, то ты ж мне як брат. Дай-ка, губы твои сахарные, я их расцелую».

Леонид показывал все это в лицах, с настроением, с артистизмом. Фелицата Трифоновна смеялась до слез. Я не уточнял, как оно было на самом деле.

Итак, Николай Василич объявился, понадобилась врачебная помощь. Гарбылева снова порезали. Бландина позвонила Леониду, тот Любе Устименко, та переговорила с мужем и Гарбылева прооперировали. Опять же, на мой взгляд, все это можно было сделать вполне легально. Но Гарбылева не отпускали страхи, он боялся, что на него повесят нераскрытые дела, поножовщину и так далее. Когда вернулся из больницы, рассказывал, что с ним случилось:

– Шпана хотела убить пожарников, – говорил Николай Василич. – Я им сказал свое слово: «Суки вы грошевые, эти же парни, все одно, что на фронте. Одних пламя сожрет, других водка погубит. Кулаки у вас чешутся? Давайте, деритесь со мной. Ну, и порезали».

(Я сказал: «Снова порезали» и не оговорился. Дело в том, что Бландина и познакомилась с Гарбылевым в тот момент, когда он истекал кровью, стоя на задней площадке автобуса, и тогда она его вылечила, не прибегая к помощи Леонида.)

Николай Василич рассказывал, находясь в квартире у Леонида, а по телевизору в это время шла передача, выступал замминистра внутренних дел и, в частности, говорил о статистике преступлений:

– В этом году совершено два миллиона тяжких преступлений, убито двести сорок тысяч человек и до конца года мы убьем еще тридцать шесть тысяч.

Он, конечно же, имел в виду народ, то есть все вместе убьем.

– Вы все триста тысяч убьете, если вам дать волю, – прокомментировал Гарбылев это сообщение.

– Я недавно вернулся из мест отдаленных, – смущенно признался он Фелицате Трифоновне при знакомстве. Дескать, знайте, кого принимаете.

– Наверное, вы хотели сказать «не столь отдаленных»? – попробовала поправить его Фелицата Трифоновна.

– Сначала посидите там, где я сидел, а потом я спрошу, отдаленные это места или не столь отдаленные.

– Да, вы правы. Но сейчас все же стало полегче. Смертную казнь хотят отменить.

– А что толку в том, что ее отменяют, – все сильнее расхохотался Николай Васильевич. – Что толку, если люди в лагерях и так мрут, как мухи. В нашем лагере из двух тысяч в год умирало по четыреста. Это под Нижним Новгородом, а в Кемеровской области есть зона, Мариинская, или Марианская, так там из двух тысяч каждый год умирает восемьсот.

– От чего?

– От голода, болезней, бессмысленных проверок. Держат часами людей на морозе, на ветру, под дождями. У меня на глазах мужик поймал мышь и съел ее живьем, тараканы идут, что тебе семечки. Нам пять дней пайку не выдавали, можете представить? Такого даже во время войны, даже при Сталине не было. Мы, чтобы зона не поднялась, кому бунт нужен; это только в фильмах показывают, что эки спят и видят, как бы им взбунтоваться; муку по пять мешков на барак выдавали. Спасибо блатным, привезли муку в зону.

Чтобы как-то успокоить Гарбылева и разрядить обстановку, сели играть в домино. Но еще до партии в домино, Николай Васильевич на нервной почве запел:

– Жена Сталина будила,
Ты давай, вставай, любимый,
Гитлер границу перешел
И до Киева дошел.

Савелию Трифоновичу не понравилась песня, и он стал Гарбылева наставлять:

– При Сталине, – говорил Савелий Трифонович, – правильно ты говоришь, порядок был. И не только в тюрьмах пайки выдавали, но и в школах бесплатный завтрак был. Давали винегрет и булочку. А сейчас ты мне скажи, дают? Я без денег выучился в школе, закончил без денег два учебных заведения. Сейчас ты без денег поступишь в институт? Закончишь? Ругают все Сталина, обвиняют в жестокости, а теперешних бы правителей, да в то бы время. В довоенное, в военное, да в послевоенное. Как бы они тогда вертелись? Какие бы действия тогда предпринимали? Сталин правильную политику вел и не надо мне песен петь. Сейчас из деревень убежали люди, ни в деревнях, ни в городах не работают. А при Сталине родился ты в деревне, в деревне и живи. Нечего тебе в город лезть вот и был порядок. И насчет налогов врут. Я ездил к тетке в деревню, помогал. Она держала корову, пятнадцать овец, кур штук сорок, а уток, тех бесчисленное количество. Если бы, как говорят, село налогами душили, ей бы невыгодно было все это держать. И стадо общественное выгоняли, и было оно, чуть ли ни в два раза больше колхозного. А то Сталин зарезал, Сталин задушил. Да, сдавали шерсть, сдавали кожу, так не за бесплатно же. Не задаром. За все деньги платили. И что это за налог с курицы – десяток яиц в год? Разве трудно? А вы не забывайте, что из города в деревню трактора бесплатно шли, за них же надо было тоже чем-то расплачиваться, да и городских жителей нужно было кормить. Куда

ни верти, Сталин правильную политику вел. Он объединял Россию, укреплял ее, присоединял к ней чужие страны, а их доил, как коз безрогих, и все это в казну шло. А то, видишь ли, демократии им там захотелось. Под Гитлером лежали, проститутки и пикнуть не могли, а как, стало быть, мы их освободили, зашевелились: «Нам под вами неудобно». Ах, неудобно? А вы знали, что за вашу свободу, за право доить вас, мы миллионами жизней заплатили? Вы об этом не хотите вспоминать? Вы сидели, как сверчки, за печками, свои жизни не тратили, так и теперь сидите, да помалкивайте.

И мы с Леонидом, как представители стран Восточной Европы, сидели и помалкивали. Николай Васильевич на это тоже ничего не захотел возразить. Позиция была ясная, годами выношенная, выстрадавшая и требовала к себе уважения.

Немного успокоившись, все же стали играть в домино. Я в паре с Леонидом, Савелий Трифонович в паре с Гарбылевым. Очень весело играли мы в домино. Конечно, мы с Леонидом были не соперники для старшего поколения, мы освоили только самые азы, что ходить желательно с таких, с которых заходит твой напарник, и забывать те, с которых заходит противник. Вот и вся наука. А Савелий Трифонович и Николай Васильевич, как выяснилось, в полной мере владели и тактикой, и стратегией игры. Раз пять подряд мы им проиграли, и вдруг Леонид заявил:

– Хватит, Димон, поддаваться, давай-ка, мы их задерем. Сделаем сухую, да со слоновыми.

– Давай, – согласился я, – чего же не сделать сухую.

– Давайте, давайте, – ободрял нас Савелий Трифонович, который, конечно, не сомневался в том, что опять нас легко обыграет. И что тут началось, что приключилось! К нам, действительно, повернулась фортуна своим прекрасным, обворожительным лицом. Каждый игрок знает, что такое в игре счастье. Игра у наших соперников пошла насмарку. Они занервничали, стараясь исправить положение, но это у них не вышло. Фишки шли плохие, ошибки следовали одна за другой. Чрезмерно нервничали они еще и оттого, что помимо невезения, Леонид принялся над ними подтрунивать. Думает, например, Савелий Трифонович, с какой ему пойти, а Леонид голосом диктора Левитана вещает:

– Внимание! Внимание! Поезд Москва-Сухиничи прибывает на второй путь.

И Савелий Трифонович сбивался, заходил не с той, с которой следовало, вследствие чего еще больше злился, принимался даже кричать на своего напарника:

– Ну, что ты, Коля, делаешь... Мать твою! Ты же видишь, что Митька на тройках играет, а ты ему оддуплиться даешь!

– А чем мне ходить? – кричал ему в ответ Гарбылев. – Ход пропускать?

Пикантность ситуации в том и заключалась, что они нам не просто проигрывали, а проигрывали в сухую. И мы, как будто и в самом деле, во всех предыдущих партиях поддавались, а теперь решили показать настоящее свое мастерство. Решили показать, объявили, что выиграем в сухую, и слово свое держали. Да к тому же еще и издевались. Леонид разошелся не на шутку:

– Внимание! Внимание! Ожидающие поезда Москва – Сухиничи, пройдите на второй путь. В почтовом вагоне поезда вас ожидают слоновьи... Гм-гм... «бильярдные шары».

Он довел противников до бешенства. Они действительно проиграли нам в сухую, да к тому же с тем самым лишком, который Леонид имел в виду, упоминая о «бильярдных шарах».

Савелий Трифонович взял тайм-аут, повел Гарбылева к себе в комнату. Там они пошутукались, и вскоре игра продолжилась. Мы с Леонидом играли уже без энтузиазма и проиграли к ряду три партии, причем третью в сухую и также с излишком. Савелий Трифонович, игравший с очень серьезным лицом, после этой, третьей, разгромной, заулыбался и спросил у Леонида:

– Говоришь, поезд Москва-Сухиничи и подойти к почтовому вагону?

– Именно так, – подтвердил безрадостно Леонид.

Честно говоря, мы и стремились к подобному результату. Нам пора было ехать по своим делам, а без выигрыша Савелий Трифонович нас не отпустил бы. Гарбылева же привезли с собой, как автомеханика, для того, чтобы он посмотрел машину Савелия Трифоновича. Николай Василич был уникальным мастером, все неполадки устранил быстро и со знаком качества. Кроме умения собрать-разобрать, то есть кроме золотых рук, Гарбылев имел к тому же поразительные теоретические знания, все в той же автомобильной области. Вот и в тот, самый первый день знакомства завели они с Савелием Трифоновичем непонятный для меня спор. Гарбылев утверждал, что у «Победы» порядок зажигания 1—2—4—3, а Савелий Трифонович говорил: 1—3—4—2. Гарбылев доказывал, что передаточное число 5,12, а Савелий Трифонович стоял на том, что 5,14.

Для меня то, о чем они говорили, было темным лесом, в автомобилях я совсем не разбирался, тем более в старых, давным-давно снятых с производства. Было полное ощущение того, что говорят они о мамонтах, вымерших пятнадцать тысяч лет назад от пневмонии.

Гарбылев и впоследствии вел с Савелием Трифоновичем подобные беседы. К примеру, почему одна смазка со множеством букв и цифр в названии, лучше другой. Почему, хоть она и лучшая, ее нельзя применять на Севере, а на Юге в то же время, ей цены нет. Гарбылев на этой автомобильной тематике так впоследствии сошелся с Савелием Трифоновичем, что они даже в тайне от нас с Леонидом под видом рассмотрения таблиц и графиков уединялись и выпивали. Все говорили о смазках, о механизмах и не просто говорили, а спорили часами до хрипоты. Прав в спорных вопросах почти всегда оказывался Савелий Трифонович. Он перелистывал книги, демонстрировал графики, схемы, температурные характеристики. И радовался, как ребенок, когда Николай Василич признавался, что был не прав. Когда же Гарбылев упорствовал, ссылаясь на то, что сведения, указанные в книге устарели, дело доходило чуть ли не до драки. Один раз они даже сцепились, хорошо, что мы с Леонидом успели их растащить.

Надо признать, что бывали такие спорные вопросы, когда правда была за Гарбылевым. В такие моменты Савелий Трифонович долго листал свои книги, что-то считал, рассчитывал, чуть ли не впадал в панику. Надо его понять. Считать себя учителем и оказаться уличенным в незнании предмета. И кем? Тем, кого считал нерадивым учеником. Это было для него невыносимо, и я шел, предлагал свою помощь. Мы искали какие-то диаграммы, рассматривали все новые и новые таблицы, и в конце-концов он опускал руки, и, как бы смиряясь, прекращая борьбу, говорил:

– Не ищи больше, Дима, не надо. Николай Василич оказался прав. Ему это плюс, а мне минус. Но на его месте, я бы не сидел теперь с Ленькой и не смеялся бы над стариком, а пришел бы, вот как это сделал ты и помог разобраться. Ты сходи, позови его. Я сам ему скажу, что он прав.

Я шел, звал Гарбылева. И тот откликался охотно, знал, что у адмирала в секретере хороший коньяк, знал, что Савелий Трифонович имеет привычку угощать, когда дело идет на мировую. Так и в первый день знакомства, заспорив про «Победу», Савелий Трифонович грозился:

– Я сейчас тебя носом ткну.

– Ткните, ткните – говорил Николай Василич, который оказался прав.

Они с Савелием Трифоновичем выпили, закусили и поехали пить и плясать в Измайловский парк, туда, где собирались веселые люди, чуть старше тридцати.

А Фелицата Трифоновна пожаловалась мне на брата, который сдружился и только что не поселил в их доме Гарбылева.

– У Николая такая уголовная морда, – сказала она, – Знаешь, мне кажется, что он всех нас ненавидит. Я от него, кроме беды, ничего не жду.

Глава 9 Смерть Букварева

1

В разгар нашего футбольного сезона случилось трагическое событие. Умер художественный руководитель театра «МАЗУТ» Иван Валентинович Букварев. Похороны в театре – особая тема, а тем более, когда умирает основатель и бессменный руководитель. В тот день, наверное, не было счастливее человека, чем Скорый Семен Семенович. Он бегал, хлопотал, распрягался, и аж светился весь изнутри. Скрывать свою радость не мог, а может, и не считал нужным. Мне, со стороны, такое его поведение казалось безобразным. Я ждал, что его вот-вот одернут, сделают замечание, но, к величайшему моему удивлению, не только не одернули, но даже поощряли такое его поведение. Состояние, близкое к предпремьерному восторгу.

Скорбела о покойном лишь жена, близкие родственники, старые друзья, да и те молодые актеры, которые только что попали в театр и все свои надежды связывали с Букваревым. Мечтая воспарить, взлететь с его помощью на Олимп и теперь осознавая, что воспарить не удастся.

Всю площадь перед театром оцепила милиция. Желающих попрощаться с великим режиссером современности собралось чересчур много. Прощаться, отдать последние почести покойному не разрешали. Никого из простого народа к гробу не подпускали. Известные и знаменитые деятели культуры с огромными охапками цветов в высоко поднятых руках (а у иных цветы были в корзинах, стоящих на головах), продираясь через народные массы, ломались в театр. Милиция неохотно их пропускала. С одним известным и популярным киноактером произошла забавная сценка. Он пробирался с высоко поднятым воротником, в черных очках, наклонив голову к земле, пребывая в полной уверенности, что народ, благодарный зритель, как только узнает его, забудет про похороны и, если сразу же и не разорвет на сувениры, то точно поднимут на руки и станут качать. В таком вот образе шпиона, он подошел к узкому проходу между двумя решетками, к тому месту, где дежурили милиционеры и, следуя за своими товарищами-киноактерами, решил протиснуться на церемонию прощания. Но милиция не дремала. Его схватили и отшвырнули в сторону, пригрозили побоями. Что он только не делал после этого для того, чтобы его узнали. И назывался именами героев, которых переиграл и сказал свое знаменитое имя. Не помогло. Снял с себя очки, опустил воротник, демонстрировал лицо и в профиль, и анфас, призывал на помощь окружавших его людей, от которых буквально минуту назад так самонадеянно прятался. Все было тщетно, не подействовало и это. Повлияло на решение милиции в положительную сторону заступничество менее известного актера, любимца милиции, так как он только и играл людей в форме. С ним бедолагу пропустили.

Что значит великий режиссер! В программе «Время» показали сюжет о похоронах, а именно – панихиду. Если еще точнее, то одну лишь речь Скорого, ее фрагмент. Перед объективом был совсем другой Скорый. Казалось, не было человека во всем мире более страдавшего об утрате театром режиссера Букварева.

Похоронили коммуниста Букварева, как и всех величайших безбожников современности, в святой монастырской земле. Забросали гроб грязью, завалили елками. Я не присутствовал на церемонии самих похорон, кладбище было закрытое. Пробрался лишь на следующий день. У могилы – ни души, растоптанная после дождя грязь, повсюду разбросанные еловые ветви и запах нового года. Запах ельника.

И чего меня туда понесло? И с какой стати на площади у театра было столько народа? Был какой-то психоз. Ни для меня, ни для большинства из тех, кто толпился у театра, Букварев ничего не значил. Многие из тех, кто пришли, не только не знали его постановок, но даже в лицо бы узнать не смогли.

Трудно определить точную причину смерти. Одни уверяли, что его загнал в гроб выгнанный им ученик, исписавший все стены в ГИТИСе обидными для бывшего мастера остротами. «Букварев часто звонил Станиславскому и... дозванивался». «Другие не дозванивались, – смеясь, пояснял стенописец по фамилии Черешня, – а Букварев дозванивался».

Всем, включая ректорат, было забавно, все читали эти настенные письма и исподволь следили за тем, чем все это закончится. Закончилось смертью Букварева. Как только Букварев умер, все эти письма закрашили.

Другие говорили, что старик пренебрег осторожной жизнью и устроил себе под занавес третью молодость. В свои без малого восемьдесят, дескать, запирался с художниками в их мастерской, распивал с ними некачественное дешевое вино и под угаром после выпитого безобразничал с приبلудными молодыми женщинами. Что, конечно, не могло ничем хорошим закончиться. Были и другие версии, не стану пересказывать. Знаю точно одно, – умирал он долго и мучительно, и агония длилась в течение месяца.

И в театре, зная это, уже никаким творчеством не занимались, а занимались исключительно интригами, созданием коалиций, возведением баррикад, вооружались, кто чем мог, в преддверии смертельной схватки за трон. Театр лихорадило, страсти кипели, развязка была близка.

И тут, вдруг, словно воскресший из гроба, так как все уже в своем сознании его похоронили, в театр появился сам Букварев. Без посторонней помощи, без палочки, без поддержки. Встретили его молчанием, многие были уверены, что это или призрак, или подставное лицо, двойник, так как светлый лик пришедшего совершенно не вязался с теми страшными болезнями и мучениями, о которых в театр докладывали ежедневно.

Букварев тем временем собрал труппу и устроил всем показательную выволочку. Сказал, что театр в его отсутствие развратился и заставил каждого персонально приносить клятву верности святым идеям искусства и театру «МАЗУТ», в частности. Заставил всех поклясться в том, что они сохранят его детище. Тут-то, наконец, все признали своего Ивана Валентиныча, клялись ему в том, что будут нравственными, честными, высокоморальными. Что будут любить искусство в себе, а не себя в искусстве. Клялись, однако, друг другу подмигивая, подсмеиваясь над стариком, над его чудачеством.

На пост главрежа претендовали:

1. Актер Кобяк, создавший вместе с Букваревым театр. Его поддерживала коалиция старейшин.

2. Известный актер Голиков, много снимавшийся, признанный в стране и за ее рубежами, обласканный партией и правительством.

3. Крупный режиссер из другого театра, которого в своих стенах съел вскормленный, выпестованный им коллектив.

4. Главреж из провинции (по специальности театровед), но с поддрезкой на самом вершине.

5. Валя Жох, с молодежью театра и амбициями.

Упоминалась как бы вскользь и кандидатура Скорого, но всерьез ее никто не рассматривал. Я сам слышал, как Кобяк, услышав такое предположение из уст Фелицаты Трифоновны, кричал:

– Варяги нам не нужны!

Я тогда ей сказал, что видимо, Кобяк переволновался.

– С чего это ты взял? – поинтересовалась она.

– Да хотел сказать «ворюги нам не нужны, а сказал «варяги». Причем они, варяги?

– Он имел в виду царя со стороны. Наши предки, если помнишь, пригласили к себе в правители варягов, Рюрика. Они нами правили. Кобяк имел в виду то, что и в своем коллективе найдутся здоровые силы, достойные люди. Себя, прежде всего, имея в виду.

Фелицата Трифионовна хотела видеть на посту главрежа именно Скорого и не сидела сложа руки, всячески способствовала тому, чтобы этот «варяг» занял царский трон в театре.

Таким образом, в ночь перед похоронами на квартире у Фелицаты Трифионовны собралось девять заговорщиков. Мало ели, много пили, а галдели так, что слышно было даже в других комнатах все то, о чем они «шептались и секретничали».

На повестке у заговорщиков был только один вопрос, вопрос власти, и как следствие, всемерная поддержка Семена Семеновича Скорого на месте главрежа. Хотя и знали о предстоящих на завтра похоронах, все мысли были о новом главреже, а не о покойнике. В том, что Семена Семеновича назначат главрежем, сомневались все собравшиеся и более других сам Скорый. Все ждали важное лицо из Минкультуры. Лицо оказалось совершенно безликим и, как показалось мне, было бесполом, эдакое существо среднего рода – Оно. Оно приехало поздно, ничего не пило, не ело, ничего не обещало. Всех выслушивало, кивало и обеими лапками крепко держалось за свой портфель. Все еще на что-то надеялись, чего-то ждали, не расходились.

Раздался звонок из высших сфер, и Фелицата Трифионовна крикнула, что они победили. Председателем на похоронах у Букварева был утвержден Скорый, что означало только одно, – он назначен преемником.

Когда дело так благополучно разрешилось, Скорый на радостях опрокинул целый стакан и, увидев меня одиноко сидящего на кухне, подсел и заговорил:

– Я человек православный. Я даже на убийство с тобой пойду, – он, видимо, перепутал меня с Леонидом, о котором был наслышан, что тот убил человека. – Если ты исповедуешь православие. Честное слово. Скажешь: «Пойдем», ответу: «Пойдем, только прежде перекрестись». Перекрестишься, пойду с тобой, не задумываясь, а не перекрестишься, не пойду. Я в церковь захожу, когда служба там идет, и у меня руки-ноги спазмом сводит. Я тогда мысленно говорю: «хуев», и все проходит. Самая высшая заслуга, – это когда тебя берут в церковный хор петь, это значит, точно в Рай попадешь. А попов и монахов просто ненавижу. Смотреть на них спокойно не могу.

Пришла Фелицата Трифионовна и увела его спать. Очень была довольная, так же много и ни о чем говорила.

После воцарения Скорого Валя Жох в театре задержалась недолго. Семен Семенович вышвырнул ее из театра с шумом и гамом. Сопутствовали изгнанию гнусные и неприятные вещи, о которых не хочется говорить. Даже то, что по паспорту звали Жох не Валею, а Валькирией, было поставлено ей в вину. Вслед за Валькирией заявление об уходе написал директор театра, всесильный Гамулка, что было для всех совершеннейшей неожиданностью, так как думали, что Скорого поставили шестеркой при директоре, а эта шестерка вдруг побила короля, оказалась козырной. Я случайно подслушал разговор Скорого с Фелицатой Трифионовной о том, какие на самом деле были причины, побудившие такого энергичного и амбициозного человека, каким был директор, написать заявление об уходе.

– Ну, что с ним было делать, если слов не понимает, – говорил громким шепотом Скорый. – Вломились мы к нему в кабинет с людьми в форме, с видеокамерой в руках и произвели оперативную съемку. А снимать было что. Ягодин, как раз в этот момент ублажал по-женски его директорское величество. И после того, как он оделся и вытер пот со лба, мы мирно сели с ним за стол и я предложил, как режиссер, несколько вариантов развития сюжета, заснятого на пленку. Он остановился на заявлении, человек все же большого ума, этого у него не отнимешь. Голубые, они ведь, как люди, все понимают, только жить по-человечески не могут. Это ж, какая гражданская смелость нужна, сознательно отказаться от Рая? Сказал же апостол... Ан, не боятся.

– Ну, надо же, развратничает, – удивлялась Фелицата Трифионовна, – а на вид такой дряхлый, болезненный.

– Что ты, у него, мерзавца, кровь играет, как у подростка. Сам видел, какими похотливыми глазами он на Дэзи поглядывал. (Дэзи, – дворняжка, жившая при ГИТИСе, знаменитая тем, что отдаленно напоминала римскую волчицу).

Они весело рассмеялись и стали говорить о творчестве, как не в чем ни бывало.

Леонид, слышавший все, что говорил Скорый, стал пересказывать воспоминания сокурсников Ягодина. «Сидят, выпивают они в «Арагви», а расплачиваться нечем, тогда Ягодин бежит или на Пушкинскую, или к Большому, находит там охотника на свою задницу и через час возвращается в ресторан. Швыряет на стол сотню и, смеясь, жалуется: «Но жопа болит ужасно».

Все эти рассказы воспринимались мной, как экзотика столичной жизни. Оказывается, и гомосексуалисты у нас учатся в институтах, служат в театрах и даже директор театра был «голубой». А за окном – Коммунистическая партия, руководящая и направляющая, а вон у них какие коммунисты – Гамулка, Ягодин. А я-то у себя в провинции думал, что все голубые в психушках да тюрьмах. Леонид в ответ на эти мои мысли смеялся и говорил:

– В психушках и тюрьмах сидят самые достойные, самые умные люди, а народом управляла, управляет и будет управлять самая что ни на есть мразь. Такая вот штука, и ничего не исправить.

Я боялся, избегал этих разговоров, но они приятно щекотали мои нервишки.

В стране происходили перемены, на политический Олимп карабкались новые люди. Подвижки таким образом происходили и в других сферах и на более низком уровне. Кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что никому не известный режиссер, по фамилии Скорый станет главрежем академического театра. В ГИТИСе его ненавидели, но просто не имели оснований отказать ему в месте, освободившемся после смерти Букварева, он стал мастером, стал набирать свой собственный курс, актерско-режиссерский.

2

Я видел постановки Букварева и по телевидению, и в театре. Лицом к лицу встретились в Храме Вознесения на улице Неждановой. Не знаю, зачем я туда пришел, молиться я тогда не молился, о Боге представление имел поверхностное, был просто какой-то интерес, манило. Стоял, смотрел на священника, слушал службу и вдруг мне все заслонила массивная фигура Букварева. Он был в дорогом, длиннополом кремового цвета пальто, в руке держал толстенную десятирублевую свечу и, стоя от меня на расстоянии вытянутой руки, смотрел мне в глаза, долго смотрел. Я смотреть на него не решался, взглядом ушел внутрь себя. Церковная служба помогала. Он ничего не сказал, не спросил, молча отошел в сторону. А теперь вот отошел и в мир иной.

Глава 10 Вступительный экзамен

Приближался вступительный экзамен, надо было готовиться, и мы готовились. И хотя Леонид намекал на то, что экзамен будет формальностью, я не на шутку переживал. И, как выяснилось, переживал не зря. Признаюсь, сам во всем виноват, но мне от этого не легче. Поступал хорошо, все были мной довольны, но вот всегда оно так в моей жизни, не могу обойтись без истории.

Попросили под самый конец стихи почитать. Уж очень понравилось комиссии, как я читал стихи Сергея Наровчатова «Манифест Коммунистической партии». Ну, думаю, чем же мне их еще порадовать? Дай-ка прочту им «Тризну» Тараса Григорьевича Шевченко. А там эпитафией идут слова из Первого Соборного послания Святого Апостола Петра «Души ваши очистивши в послушании истины духом, в братолюбии, нелицемерно, любите друг друга прилежно: нарождени не от семени нетленна, но неистленна словом живаго Бога, и пребывающего во веки. Зане всяка плоть, яко трава, и всяка слава человека, яко цвет травный: исше трава и цвет ея отпаде. Глагол же Господень пребывает во веки. Се же есть глагол, благовествованный в вас».

Огласил я эпитафию и даже не успел приступить к чтению стихов, как в рядах комиссии случилось что-то невообразимое. Что тут началось! Слово святой водой плеснул в самое логово нечистой силы. Все завизжали, захрюкали на разные лады, копытами затопали. После минуты-другой беспорядочного шума и гама, немного подуспокоившись, повели со мной суровый разговор. Слово взял пожилой, угрюмый мужчина, до этого все больше помалкивающий, с любопытством следивший лишь за оголенными ножками молоденьких абитуриентов. Как оказалось, это был представитель от КГБ.

– Может, вам, молодой человек, следует в духовной семинарии поискать свое счастье? Вы об этом не думали? Или же вас не интересуют ни институты, ни семинарии, и вы пришли сюда только ради того, чтобы устроить эту провокацию?

Я, никак не ожидавший подобной реакции на прочитанный эпитафию, принялся оправдываться, говорить, что этот текст я взял из советской книги, из пятитомника стихов поэта Т. Г. Шевченко. Что я не помышлял ни о какой провокации, а просто хотел почитать стихи. А в семинарию совсем не расположен.

– Что значит «не расположен»? – Взят слово заведующий кафедрой научного коммунизма, профессор Неумытный. – Ты, если комсомолец, то должен твердо сказать нам сейчас, что в сказки о Боге не веришь, а веришь в человека, добившегося всего трудом рук своих, живущего на началах науки и разума. А то юлишь тут, как какой-то слизняк. Чего молчишь, говори!

Тут мой мозг, лихорадочно подыскивающий что-то для оправдания, услышав сигнальные слова «наука» и «разум», моментально подобрал нужное. И этим нужным оказалось ни что иное, как фрагмент из романа Ф. М. Достоевского «Бесы», который совсем недавно я прочел, и в котором тогда совершенно ничегошеньки не понял. Фрагмент же тот мне очень понравился, и я его запомнил наизусть.

– «Ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума: не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости».

– Вы, что же, не верите в силу разума? – еле сдерживая себя, спросил представитель комитета госбезопасности.

И я опять же, как попугай, как зомби, ответил затверженным абзацем все из тех же «Бесов».

– «Никогда разум не в силах был определить „зло“ и „добро“, или даже отделить зло от добра, хотя бы приблизительно. Напротив, всегда позорно и жалко смешивал».

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что я был сыном своего народа, сыном времени, как все, или почти что все, был воспитан атеистом, а стихи с таким эпиграфом стал читать из-за того, чтобы угодить Скорому, говорившему мне: «Перекрестись и пойдешь с тобой на убийство».

Таким образом, весь мой триумф, весь мой успех после эдаких выступлений пошел насмарку. Неумытного и кагэбэшника чуть удар не хватил, меня прогнали.

– Что же ты хотел? – утешал меня в скверике Леонид. – Идеологический ВУЗ; а этот Неумытный, он известный сатанист. Помню, прямо на уроке говорил нам, студентам, боготворившим Цветаеву, что ему до слез жаль, что ее не успели расстрелять, поскольку она – ярый враг Советской власти. То, что она этой властью доведенная до предела, в Елабуге повесилась, этого ему было мало. Что тут говорить, Неумытный, он и есть Неумытный. Придет время, мы его умоем. Он за всю свою жизнь никому выше тройки не ставил. Эфрос ему не мог сдать, Пугачевой не ставил зачет, а той в Сопот лететь, представлять всю страну. Сам министр культуры за нее просил. Правда, было два исключения. Любе Устименко он поставил пятерку и Сабурову. Люба перед зачетами съездила к маме на Украину, загорела там, пришла на экзамен в белой блузке просвечивающейся, без бюстгалтера. А ты видел ее пятый номер, наливные, стоячие? Там весь Собиновский с ума сошел. Как вошла в институт, портреты со стен попадали. Ничего не знала, ничего не отвечала. Только сидела и улыбалась. Он сам ей вопросы задавал, сам на них отвечал, и сам того не заметил, как в зачетке ей вывел «отлично». И второй случай был с Ренатом. Он честно все читал, учил, но разве здоровый, нормальный человек способен эту мутотень запомнить? Пришел на экзамен весь зеленый, на взводе, предчувствуя свой провал. Взял билет, там первым вопросом – условия труда немецких рабочих на фабриках Круппа. Стал он что-то лепетать о том, что они просыпаются ни свет, ни заря, идут затемно на фабрику, где их станут угнетать капиталисты. Говорит и понимает, что все это лабуда, и что его сейчас прервет Неумытный и поставит двойку. И не выдержали нервы, зарыдал. Устроил истерику от такой безысходности. А Неумытный воспринял стенания как плач солидарности с угнетенными рабочими и поставил ему «пять». Вот два случая, известные всем. А так, никто даже на четверку не вытянул. Многие пробовали повторять, девицы являлись на экзамен не только без бюстгалтера, но и без трусов. Ревели в голос о тяжелой судьбе угнетенного пролетариата, но не проходило. Так что ты должен понимать, какой это негодяй. Ну ты, все же, сильно не переживай. Сейчас уже не тридцать седьмой год, все самые страшные черти от коммунизма давным-давно в аду раскаленным сковородкам промежности вылизывают. Найдем управу и на Неумытного, которому давно уже не то, что на пенсию, а к коллегам, к сковородке пора. Он ведь постарше Кобяка, а тому восемьдесят два. И на дядьку в штатском управу найдем.

Этот скандал, случившийся при поступлении, был многими в тогдашнем моем окружении воспринят чуть ли не как геройство. Керя Халуганов, не скрывая своего восхищения, рассказывал о том, как он спорил с комиссией при поступлении, что было, конечно, выдумкой.

Фелицата Трифоновна рассказывала об отставном кагэбэшнике, которого устроили в театр администратором, и он весь театр подмял под себя. И третировал всех, пока не сошел с ума, и не отправился на принудительное лечение.

«Был громадный театр, громадный регион, тогда невероятно богатый и буквально за полгода этот друг зажал театр так, что ни директор, ни главреж и пикнуть не могли. Эти волки, люди очень весомые, ходили по струнке перед ним. А потом произошла такая вещь, а точнее, страшная история. Ну, что такое главный администратор? Работа там текущая. А он сошел с ума тихонечко, об этом никто не знал, никто этого не заметил. Он сошел с ума, наверное, уже в тот момент, когда его понизили, поперли из Комитета, но этого никто не знал, и он где-то полгода правил театром. Причем подходил к режиссеру и говорил: „Что вы делаете? Да я вас сейчас в Сибирь упеку. Давайте-ка, делайте так вот и так“. От этого прессинга все изнывали,

а прокололся он тогда, когда в театре делали ремонт. Пришел, увидел отремонтированный туалет в зрительской части и разорался: „Да вы что? Разве такие унитазаы можно ставить?! Вот у нас в Комитете сейчас поставили чешские унитазаы. Ну-ка, ломайте это все. Я вам пришлю настоящие унитазаы“. Ну, это дело все демонтировали, сняли и действительно унитазаы стали прибывать. Причем, чешские, удивительные. Связи у него остались обалденные. Ну, полковник КГБ в то время, сам понимаешь. Сначала все обрадовались, но потом, когда этих унитазаов перевалило за сто... Все задумались и взяли, позвонили его бывшему начальству. Объяснили ситуацию. И те вдруг сказали: „Да он, может, с ума сошел?“ После этого вызвали врача, он стал буен в тот момент, когда его вязали. Но главное, что потом еще в течение года приходили унитазаы. Он списался, созвонился со своими бывшими сослуживцами. А те были на постах, по всей стране, влияние имели безграничное. Унитазаов пришло дикое количество, где-то штук пятьсот на театр, в котором вообще, если все везде заменить, хватило бы двадцати. Приходили разные – и в цветочек, и в ягодку, и в крапинку, и в полосочку, каких не видели никогда. Он все связи свои поднял. И потом он уже лежал в психушке, а унитазаы все шли и шли. Из Мурманска, из Одессы. Это хохма».

Утешали меня, как могли, но мне было не до смеха. Мне странным казалось, что я не желая того вовсе, постоянно попадаю в конфликтные ситуации, ничего специально для этого не предпринимая. Леонид объяснил это так:

– Система восприняла тебя, как зерно, из которого можно муки себе намолоть для сытных лепешек и пустила тебя в жернова. А зерно оказалось не сытное, а жемчужное, скорее даже, алмазное. И такой прочности, что жерновам оказалось не под силу тебя смолоть. Вот от этого конфликты. Они будут в твоей творческой, да и не только творческой жизни постоянно. Любой здравомыслящий человек, со своим внутренним миром, неизбежно входит в конфликт с существующей действительностью. И это невзирая на политическую систему, при которой живет государство. Это закон природы, – не хочешь быть растением, травой, которой кормят скотину, – поднатужься и стань скотиной, чтобы жрать траву. Других должностей в этом мире нет. Если же ты, нечто совершенно иное, непонятное, то станешь изгоем, отвергнутым и всеми теми травами и зернами, которые идут на перемолку-перетерку, и тем скотом, что этой перемолкой-перетеркой питается. В лучшем случае, объявят отходами, как в свое время Ленин интеллигенцию и постараются забыть. В худшем – попытаются избавиться, уничтожить. Всякий самородок должен заблестеть, ослепить, сделать так, чтобы его заметили. Ты должен будешь всю свою жизнь доказывать свое право на существование. Самое трудное еще впереди.

После провала на вступительных я ночевал у Леонида и утром, невольно стал свидетелем его объяснения с матерью. Леонид кричал, собственно, от его крика я и проснулся. Прислушавшись, услышал следующее:

– Вы все – старые пердуны! – кричал Леонид. – Вы все обалдели! Вы не понимаете, что этот человек прав. Вы у него должны учиться, и не потому, что учатся только у молодых, а потому, что он говорит то, что думает и не оглядывается на тех, при ком что-то можно говорить, а что-то нельзя. Вы – ублюдки! Вы убрали человека, который мог вам подсказать что-то важное, который мог вдохнуть в вас жизнь, дыхание Духа Живаго. Я вас после этого просто презираю и ненавижу!

– Я сама днем и ночью об этом думаю, – отвечала ему спокойно Фелицата Трифионовна. – Я поговорю с Семеном.

И поговорила.

В жизни страны происходили перемены, важные перемены, иначе такого разговора и быть не могло, а он состоялся. Затем Скорый переговорил со мной.

– Ну, что ж, молодой человек, – сказал Скорый, – хотите потерять год, ходите ко мне. Я буду смотреть на Вас, вы будете смотреть на меня. Будем вместе чему-то учиться. Если я пойму, что вы талантливее кого-то, я этого кого-то отчислю, а вас возьму на его место. Но обе-

щать ничего не могу. Знайте наперед, что вольных слушателей на курсах ненавидят. Вы станете символом занесенного топора. Занесенного над головой каждого учащегося. И за этот год вам вместе с курсом предстоит пройти огромный путь от ненависти до любви. Ведь вам нужно будет доказать, что вы действительно самый талантливый. А курс может и не понять, может возненавидеть. Что будет в порядке вещей, поскольку все самовлюбленные, заносчивые и с определенными амбициями. Учтите и то, что стипендию вам платить никто не будет. И это теперешнее ваше положение продлится ровно год. Вольных слушателей берут на год, после года решают, что с ними делать. Или сдаете экстерном все экзамены за первый курс и вас зачисляют на второй или просто скажут «до свидания» и попрощаются.

Это, конечно, была победа, тем более Леонид говорил, что меня могут зачислить уже и после зимней сессии.

Глава 11 Трудовой семестр. «Картошка»

Приходилось засучивать рукава, впереди у меня был трудовой семестр, а далее – уборка картофеля.

Трудовым семестром называлось восстановление института после той разрухи, которую несла с собой толпа поступавших. Припахивали, выражаясь студенческим языком, разумеется, поступивших. Кто-то трудился в самом ГИТИСе, кто-то в общежитии. Начинался трудовой семестр с первого августа. Я, как официально не числящийся, думаю, мог бы и проигнорировать все это, но мне хотелось быть со своими ребятами повсюду, не только в учебе, но и в труде. А, если честно, то у меня, «в списках не значащегося», лишеного прав, последнего среди равных, можно сказать, и выбора не было. Мне нужно было стараться, стараться изо всех сил. Но к первому августа я не успел, нужно было рассчитаться со стройкой, съездить домой, я приехал в ГИТИС к пятнадцатому августа, к середине трудового семестра. Я заготовил оправдательные документы, но их даже не спросили, никто мне даже слова не сказал. Дали фронт работ: «тут помой, там подкрась», и я засучил рукава.

На второй день я понял, что все это бессмысленно, что это никому не нужно. И краска плохая, и никого не интересует, делается ли все на совесть, или абы как. Такой пример. Покрасил я утром дверь, прихожу вечером и вижу на моей двери след ступни, то есть след от удара ногой, а от двери по полу идут эти белые следочки. Я говорю, надо закрасить. Мне говорят «не надо, занимайся другим». И стало мне ясно, что этот след на двери останется, если и не навсегда, то до следующего трудового семестра точно. Ну, что на это скажешь? Делал то, что говорили, старался трудиться на совесть.

После работы купались в Москве-реке или Измайловских прудах. Затем, там же, в Измайлово, под аккомпанемент Савелия Трифоновича отплясывали на пяточке с дамами, которым «за тридцать».

В сентябре забурлила жизнь. Я пришел в институт вместе с Леонидом на день студента и видел, как ему и всему моему курсу, кроме меня, разумеется, вручали студенческие билеты. Вспомнилось волнение Гарбылева Николай Васильича при получении паспорта.

Вручили и сказали:

– Страна ждет от вас подвига. Езжайте на поля и помогите колхозникам убрать урожай. Помогите деревне накормить город.

И пятого числа мы сели в автобусы и поехали по трассе в Волоколамск. До Волоколамска мы не доехали, довезли нас до разъезда Дубосеково и там, сразу же за памятником отцам нашим и дедам, героически сражавшимися с фашистами и располагался наш лагерь.

Скажу два слова о середине октября 1941 года. Что же здесь творилось! По снегу ездили немецкие танки желтого цвета, они были переброшены из Африки и их даже не успели перекрасить. По небу летали, ничего не боясь, нашей авиации уже не было, «юнкерсы». Становясь в круг, на «бреющем» «утюжили» любое проблемное место. Против 16-й армии Рокоссовского немцы сосредоточили 5-й армейский, 46-й и 40-й моторизованные корпуса четвертой танковой группы; 106-ю и 35-ю пехотные дивизии. Четыре танковые дивизии – 2-ю, 11-ю, 5-ю и 10-ю; и моторизованную дивизию «СС» под названием «Рейх».

И против всей этой армады выступил отряд московской милиции (милиция, кто не знает, – это не войска, у них другие функции, не ихнее это было дело), ополченцы, то есть те, кого не взяли в армию даже на время войны – старые, малые, слепые, хромые. Курсанты-мальчишки, пороха не нюхавшие, да четыре кавалерийские дивизии, прибывшие из Средней Азии и не перекованные к зиме, так что ноги у лошадей разъезжались. Командиры и бойцы этих дивизий, к тому же, не имели навыков действия на пересеченной и лесисто-болотистой мест-

ности. Правда, была 58-я танковая дивизия, но, к сожалению, совершенно без боевой техники, то есть одно название, что танковая.

Чем же били по немецким танкам? Конечно, все вы знаете «пуколку», сорокапятку. Нет, не из них, их не дали, дали зенитки, а у них калибр 37 мм. А это все одно, что с рогатки камнями, результат такой же. Конечно, герои остановили врага, конечно, миллион погибших за Москву, более, чем огромная и страшная плата. Но все одно, разве не чудо, что немца остановили? Остановили, а потом и отбросили. Тут есть над чем задуматься. Говорят, заступничество Богородицы помогло. Я в это верю. Только она и могла спасти.

Но вернемся в наш лагерь от октября сорок первого. Я сначала решил, что это какой-то пансионат, так как вид двухэтажных кирпичных корпусов сбил меня с толку, но обилие гипсовых горнистов (гипсовых пионеров, застывших в приветственном салюте) вернуло меня к мысли, что мы находимся на территории пионерского лагеря.

Всех поселили в один корпус, комнаты были без замков. В каждой комнате по четыре койки. Препонов не было, селился кто с кем хотел. Разумеется, мальчики отдельно, девочки отдельно.

Порядок был такой. В семь утра подъем. Будил всех комсомольский вожак, не сам ходил, действовал через старост курсов. Этот вожак от комсомола имел приличную власть; мог, что постоянно и делал, напугать исключением из института, говорил так:

– Как попал ты в институт, с тем же успехом можешь из него и вылететь.

Это действовало на всех без исключения.

После побудки шли в столовую. На сдвинутых торцами столах (для удобства обслуживания столы сдвигались) ждал нас завтрак. В столовой было самообслуживание. Поел, за собой убери. На кухне так же существовали порядки. Были такие студенты, в большинстве своем, конечно, девчонки, которые на поля не ходили, постоянно трудились на кухне. Но мне приятнее уж на полях, там веселье, раздолье и чистый воздух.

После завтрака проверка и развод на работы. Староста проверял (старостой выбрали, а точнее, назначили Леонида), он же делил студентов на бригады. В грузчики (те, кто мешки в машины грузит) – пять человек, в уборочные бригады по четыре человека. Девчонки собирают картошку в корзины, корзины высыпают в мешки. Мешки волокут и грузят в машины. Такой вот процесс.

Грядки там были бескрайние, тянулись до самого горизонта. Поля располагались не рядом с лагерем, а поодаль. На поля и обратно нас возили ПАЗиками. Все это было хорошо продумано, для того, чтобы избежать соблазнов покинуть трудовой фронт в неуточное время.

Откровенно говоря, кроме нашего юношеского задора и невиданного энтузиазма, все там было на среднем уровне. И пьяный председатель совхоза, и местные жители, воровавшие картошку с полей, и еда, и условия проживания. Хотя, как совершенно верно кто-то заметил, на живого человека не угодишь.

Фелицата Трифоновна рассказывала, что когда она ездила на уборку, то дискотек, танцев не было, корпусов каменных тоже, а жили они в самом настоящем бараке, неизвестно откуда взявшемся в самом центре обычной русской деревни, то есть, я хочу сказать, что жалобы всегда относительны.

Само собой разумеется, была у нас у всех норма. Эта норма составляла семь — восемь мешков в день на человека. Как ни странно, выполнить такую норму оказалось несложно. Хуже всего то, что заставляли собирать всю картошку. Крупной картошкой, конечно, мешки наполнялись быстрее, практически мгновенно, а мелкую собирали, мучаясь. Помню, как-то сделали показательную сборку. Создали ударную бригаду из восьми пар. Идет по полю трактор, выворачивает клубни из-под земли. За трактором идет первая пара и собирает самую крупную, следом за ними вторая и третья пара, которые собирают только среднюю, следом идут пять оставшихся пар, которые собирают всю мелочь. Эта бригада так дружно работала, что практи-

чески не отставала от трактора. За нами оставались только мешки. По мне, так и лучше, сделал норму, а потом отдыхай, чем весь день тянуть kota за хвост, волынить. Все мы были молоды, веселы, полны здоровья и сил. Нам было приятно в эти игры играть. Мы до поры до времени не только выполняли норму, но и вдвое перевыполняли ее.

Били все немыслимые рекорды, даже администрация района удивлялась, глядя на нас. В совхозе даже за премиальные никто никогда так не работал. А тут – задаром.

Да и мы били рекорды до поры до времени, как бросило совхозное начальство нас на поля, на которых все было убрано, так наш пыл сразу же и угас. Называлось это «второй сборкой», трактора проезжали, боронили и, чтобы ни одной картофелины не пропало, кидали нас. На этих полях было тоскливо. Собираешь эту мелкую картошку, дело движется медленно. Все потихонечку уходило в лесополосу, и там сидели у разведенных костерков. Мы уже знали, когда, в какое время приезжают проверяющие. Ну, а они, то есть проверяющие, тоже хотели и выпить, и в Волоколамск съездить и просто на койке поваляться, отдохнуть. Да, неритмичность способна остудить любой энтузиазм, а аритмия, та аж до смерти доводит.

Работали не только на полях, но и в хранилище. Это строение, похожее на элеватор для зерна. Там картошка сушилась, сортировалась, очищалась от прилипшей глины. Туда свозились все мешки с полей, оттуда же, после чистки, сушки и сортировки мешки на машинах отправлялись в Москву, на овощные базы. В хранилище также наблюдались большие перерывы. Сидишь, ждешь, машин нет, перегораешь, начинаешь заниматься всякой ерундой. Лазить по крыше этих хранилищ (она полукруглая, сделана из блестящего алюминия, точно как ангар для самолета), с детьми местными бороться. Ты один, а они все против тебя. Поддаешься, им это нравится. Иногда к нам приезжали педагоги на денек, делали показательные выезды. Может, за мешочком-другим, не знаю. А может быть, так же, по чужому произволению. Но, несмотря на неритмичность, на всяческую непогоду (грязь под ногами, серое небо), на все старания администрации (вывозят на поля рано, привозят в лагерь поздно. Льют бром в суп, чтоб не только не занимались посторонними делами, но даже о них и не думали), мы все же изыскивали лазейки, чтобы не приуныть, не заскучать и это было самое интересное. Как бы не занимали нас на полях, в какую бы грязь ни кидали, мы искали возможности и находили их. Думали и придумывалось, были свои изобретатели и свои изобретения. В лагере само собой, алкоголя не было, был он только в Волоколамске, а это где-то километров десять от разъезда. Нужно было ехать на автобусе, да к тому же это считалось самоволкой. Могли поймать и наказать. Нужно все это было делать незаметно. Незаметно уехать, незаметно приехать, сделать вид перед сельчанами, что в сумках хлеб, так как пьянство в совхозе преследовалось, а стукачество поощрялось. Шла уборочная, и за этим следили строго. Потребовали танцы и получили.

Затем практиковалась еще и такая затея. Девчонки наряжались и приглашали к себе ребят на спевку. Песни вместе пели, а заодно и общались. После всех этих спевок общение продолжалось и на полях. Играли в буриме, в загадки, в ассоциации, писали на листке бумаги стихи – две строчки. Одну строчку закрывали, передавали следующему, тот дописывал свои две строчки, и так, пока все не напишут, а затем читали, что получилось и смеялись. Кончались все эти стихи салочками, хватаниями и валяниями. У ребят были в моде бойцовские дела, мерялись силой, боролись, тянулись на пальцах, играли в футбол, курс на курс, на лагерном футбольном поле.

При погрузке мешков были всякие чудачества. Играли в слона, боролись. Деревня отстояла от лагеря на расстоянии одного километра. Леонид завел знакомства, мы ходили париться в баню, ходили в клуб смотреть фильмы на большом экране. Конфликтов с местным населением не было, да и не могло быть. Ребят у нас было слишком много, да и все с кулаками. Да и милиция была начеку. Между своими случались небольшие стычки. Леонид в столовой

подрался с театроведом, тот даже за нож хватался, но все кончилось хорошо, без последствий и продолжений. Леонид пошутил тогда: «Это мне открытка с того света, армейская отрывка».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.